

БИБЛИОТЕКА

ISSN 0132-2095

ОГОНЁК

МОСКВА

№ 24 1991



*Владимир КОРАЛЛИ*

**КУПЛЕТИСТ ИЗ ОДЕССЫ**

Б И Б Л И О Т Е К А « О Г О Н Е К » № 24

Издается с января 1925 года

Владимир КОРАЛЛИ

## КУПЛЕТИСТ ИЗ ОДЕССЫ

Москва. 1991.

## Владимир КОРАЛЛИ

Владимир Филиппович Коралли родился в 1906 году в Одессе. С десятилетнего возраста в детском профессиональном театре «Водевиль» началась его театральная деятельность. Коралли один из первых организаторов и создателей теа-джаза, провел на эстраде три четверти века. На своем жизненном пути он встретил Леонида Утесова и Клавдию Шульженко — людей, во многом определивших его судьбу.

В содружестве с Клавдией Шульженко он создал много интересных программ. Выступал на фронтах гражданской войны, в годы Великой Отечественной войны — в блокадном Ленинграде...

Владимир Коралли публикуется на страницах газет и журналов «Правда», «Литературная газета», «Советская культура», «Неделя», «Эстрада и цирк» и др.

Вниманию читателя предлагаются его воспоминания о переломном.

Светлой памяти  
матери  
Полины Леонтьевны Кемпер  
посвящаю

*Веселый куплет может опрокинуть трон и низвергнуть богов.*

*Анатоль Франс*

Советская эстрада фактически рождалась на моих глазах. Я сам был непосредственным участником ее становления. Об этом я и хочу рассказать в своей книге.

...Все эти давней давности события так зримо и осязаемо, так ярко и ощутимо предстают сегодня в моей памяти, словно это было вчера, а фактически прошло-то ведь свыше...

Первый раз меня вынесли на сцену, когда мне стукнуло пять лет. Спектаклю одесского украинского театра под руководством Дмитрия Аршанова «Запорожец за Дунаем» требовался турчонок, вернсе, маленький мальчик, который смог бы исполнить эту роль на сцене. Администратор театра «Водевиль» вспомнил, что на Молдаванке живут его дальние многодетные родственники, у которых наверняка найдется подходящий мальчик. Придя к нам домой, он увидел, что самый младший представитель фамилии, по счету тринадцатый, по причине своего малолетства и миниатюрности вполне подходит на эту роль. Родители не возражали. Я — тоже.

На меня надели шелковые шаровары, намазали лицо темной краской и в нужный момент передали в окно — по ходу действия турчонок полагалось украсть. Вот и вся роль. Едва ее исполнив, я побежал в зрительный зал и там из последнего ряда досмотрел спектакль до конца. Актеры то и дело упоминали моего турчонка, и я был уверен, что этот спектакль обо мне, что я играю в нем главную роль. Хотя я был еще слишком мал, чтобы думать о престиже, но «главная роль» льстила моему самолюбию.

Забавный эпизод, не более. Но все-таки что-то, наверно, произошло со мной в тот миг, что-то, наверно, пробудилось... В самом деле, не прошло и четырех лет, как я уже пел на сцене детского оперного театра в Одессе, а еще через три года, в восемнадцатом, когда мне было двенадцать лет, во время первых гастролей в Екатеринославе, я спел в кино-театре «Солей» такие куплеты против захватчиков Украины, что был выдворен в двадцать четыре часа из города вместе с моей мамой, которая меня сопровождала. То же самое повторилось в Херсоне и Николаеве.

Изложив таким образом бурное начало моей «творческой биографии», я почувствовал, что должен все рассказать по порядку, чтобы оно, это начало, было понятно или хотя бы выглядело правдоподобно.

Наверное, корень всего в том, что я родился в Одессе, как заметил мой земляк и учитель Леонид Осипович Утесов, «многие бы хотели родиться в Одессе, но не всем это удастся». Мне удалось — и случилось это в мае 1906 года. В семье портового рабочего Филиппа Кемпера (моя настоящая фамилия) и его жены Полины появился еще один рот. Вообще-то в семье я был тринадцатым, но шестеро умерло в раннем возрасте, и только семеро осталось в живых.

С нашими прекрасными аппетитами родители от поры до времени кое-как справлялись. Правда, мясо и скумбрия были нам не по карману и молоко удавалось попробовать только два раза в неделю. Зато мать умела варить великолепные обеды, в которых вместо мяса было множество самых аппетитных «запахов». К тому же селедки и, как это ни парадоксально сегодня прозвучит, красной икры у нас было достаточно. Красную икру привозили в бочонках с Дальнего Востока, а селедка водилась в Черном и Азовском морях в изобилии. И селедка и икра стоили очень дешево, продукты эти так и называли «пищей нищих».

При помощи лука и подсолнечного масла мать из фунта икры делала два. Иногда удавалось полакомиться и апельсинами, один делился на четверых. Впрочем, по праздникам бывало у нас и мясо, да еще куриное: на кухне на маленьком балкончике нашей двухкомнатной квартиры, которую мы снимали у грека Пандели на Внешней улице, цыплята в ящиках постепенно превращались в кур.

Отца я помню плохо, но, как понимаю теперь, он обладал хорошими организаторскими способностями. Постоянного места, а значит, и заработка в порту он не имел, но мог сколотить на время удачную артель из пятнадцати — двадцати человек для хлебоборобной конторы. Артель грузила на океанские пароходы зерно — пшеницу, кукурузу, овес. Наверно, отец был неплохим мастером своего дела, потому что проработал в порту тридцать лет.

Я плохо его помню не только потому, что был маленьким, когда его не стало, но и потому еще, что он редко бывал дома. Чаше я видел его в припортовом трактире, где после трудового дня артель делила за-

работки и мать посылала меня к отцу за деньгами. До сих пор стоят у меня перед глазами кучки медяков, разложенные на столе, которые отец делил по справедливости.

Когда мне было шесть лет, отец заболел воспалением легких. Болезнь возникла, наверное, не столько от простуды — портовые грузчики не чувствительны к переменам погоды, — сколько от зерновой пыли, а простуда только довершила дело. Он умер пятидесяти трех лет.

Пока был жив отец, мы хоть и не имели ничего лишнего, но не голодали. На самое необходимое заработка отца хватало. Да и мать была хорошая хозяйка. Когда же отца не стало — впору было растеряться — семь человек детей и никакой специальности. Но мать не растерялась. Женщина, слабый пол — она оказалась человеком сильной воли.

Прежде всего подыскала себе работу — по поручительству родственников и друзей она забирала в бакалейной лавке продукты и разносила их по квартирам. А потом пристроила в разные места и детей, всех, кроме меня — шестилетнего. Меня отдали в хедер (начальное еврейское училище), где ребе читал нам библию, талмуд и тору, заставляя отдельные страницы заучивать наизусть. У кого не заучивалось, тому помогали ремнем. У меня память была отменная, так что мне доставалось только за шалости. Кроме священного писания, рассказывали о писателях Шолом-Алейхеме, Менделе Мойхер-Сфориме и читали их произведения. Средние братья, Зиновий и Эмиль, уже пели в синагогальном хоре, а сестра Лиза работала в мастерской корсетной фабрики французской фирмы «Братья Паве». Днем она шила корсеты, а на вечер приносила домой сотни пряжек, и мы всей семьей прикрепляли их к резинкам для чулок.

Старшего брата, Юлия, мать устроила «перебежчиком». Была такая профессия на заре кинематографа, когда фильмы выпускались малым количеством копий. «Перебежчик» бегал из одного иллюзиона в другой и переносил части картин. Когда он почему-либо задерживался в дороге, публика терпеливо ждала продолжения. А бывало и так, что, не дождавшись очередной части, хозяин иллюзиона обещал зрителям закончить показ картины на следующий день.

Работа «перебежчика» была нелегкой — Юлий возвращался домой, едва волооча ноги. А вскоре оказалось, что и доходов семье его старания не приносят: за восемь — десять часов беготни обувь так изнашивалась, что починка ее стоила больше того, что Юлию зарабатывал. И тогда решено было на семейном совете найти брату другую работу.

Однажды матери пришла в голову, как говорили в нашем доме, «гениальная» мысль. Дело в том, что Юлий умел подражать мычанию коров, кудахтанью кур, гудкам паровоза, хрюканью поросят... В нашем семейном «театре», которым руководила мать, и на любительских вечерах Юлий и его «голосовые» жанровые сценки «Утро в деревне» имели огромный успех.

Явившись как-то к хозяину иллюзиона «Фурор», где Юлий работал «перебежчиком», мать сказала:

— Знаете ли вы, что мой сын Юлий — эффе́ктер! — В то время на эстраде этим словом называли звукоподражателей — имитаторов. Мать не задумываясь применила его к кинематографу. — И в нашем иллюзион-не он может сделать слышным все, что происходит на экране. Слышали ли вы когда-нибудь, как мальчик мяукает и мычит? А как он умеет гудеть паровозом! К тому же учтите, для вас это не будет связано ни с какими расходами. Ведь мой Юлий все эти звуки производит только «с ро-том» — без всяких приспособлений.

Мать умела убеждать, а Юлий тут же продемонстрировал свои способности. И на следующий день огромный плакат у дверей иллюзиона «Фурор» соблазнял зрителей: «Внимание! Внимание! Только у нас! Только у нас! Звуковые эффекты на экране! Неподражаемый подражатель! Эффе́ктер Юлий Ленский!» — для псевдонима и успеха хозяин выбрал фамилию двойной, так сказать, популярности — литературной и театраль-ной.

Реклама сделала свое дело, и на Водопроводной улице, где помещался «Фурор», затолпился народ. Даже первый в Одессе электриче-ский трамвай Бельгийского общества — огромная сенсация того време-ни — отошел на второй план.

Как видите, еще тогда, когда и немое-то кино только появилось, моя мать Полина Кемпер стала провозвестницей звукового кино! Биле-ты на все восемь сеансов расхватили мгновенно.

На экране разворачивалась драма в трех частях с участием Франчески Бертини и Вольдемара Гариссона, драму сменяли комические ленты с любимцами публики — одна с Максом Линдером, другая с Прэнсом. Перед экраном, как и положено, импровизировал на пианино тапер, а за экраном «творил звуки» неподражаемый эффе́ктер Юлий Ленский. И публика не только видела, но и слышала, как дежурный по станции тремя ударами в колокол давал сигнал к отправлению поезда, как разда-вался паровозный гудок и стучали колеса.

Ошеломленные зрители разразились аплодисментами. А когда ко-мические ленты огласились мяуканьем двух кошек, крутивших любовь на крыше, и стал слышен всплеск воды, которую мать девушки вылива-ла с балкона на Макса Линдера, пришедшего на свидание, зал взорвался хохотом. Звуки поцелуев, несущиеся с экрана, и вовсе вызвали всеоб-щий восторг.

Но вскоре догадливая публика — это же все-таки одесситы — стала имитировать самого «эффе́ктера». И уже гомерический хохот стоял, ко-гда в ответ на звуки поцелуев за сценой в зале слышались мяуканье, ку-дахтанье и паровозные гудки.

Но и это «открытие» не облегчило финансового положения нашей семьи: деньги, которые заработал Юлий в иллюзионе «Фурор», при-шлось почти полностью потратить на гоголь-моголь: наш «эффе́ктер»

к концу дня совершенно охрип и потерял голос. Так первая попытка превратить немое кино в звуковое не удалась. В дальнейшем кино повезло больше. Впрочем, моему брату тоже — Юлий Ленский спустя некоторое время стал эстрадным куплетистом.

Он выступал в популярном тогда «рваном жанре». Ухватки босяков, или, как их тогда благородно называли, «апашей», получались у него очень убедительно. Костюм Юлий Ленский составил себе из обычного набора деталей этого жанра: рваный пиджак, тельняшка, красный шарфик на голой шее, кепка. В его исполнительской манере преобладали пессимистические нотки, звучало настроение обреченности, неустroенности простого человека. Его герой словно упрекал тех, кому не по слугам хорошо живется, что они забывают о бездомных.

На эстраде Юлий Ленский пробыл всего два года, но быстро завоевал популярность. На одном из его выступлений в зрительном зале присутствовал приехавший в Одессу на гастроли талантливейший куплетист того времени Юлий Владимирович Убейко. Прослушав Ленского, Убейко дал высокую оценку его дарования. Ленский оказался достойным продолжателем жанра, зачинателями которого были Юлий Владимирович Убейко, Сергей Алексеевич Сокольский, Станислав Францевич Сарматов.

Мой брат Юлий Ленский обычно выступал в дивертисментах после демонстраций кинофильмов. Но особым успехом он пользовался в «Саду трезвости» на окраине Молдаванки, где постоянными зрителями были рабочие, портовые грузчики, рыбаки и мелкие лавочники. Свое название сад получил потому, что там не продавались спиртные напитки, а на расставленных повсюду столиках шумели кипящие самовары. Зрители, слушая артистов, пили чай с горячими бубликами. Репертуар Ленский писал себе сам, но часто переделывал на свой манер известные песни. Так, например, на популярный мотив «Мой костер в тумане светит» он сочинил такие слова:

Мой костюм в тумане светит,  
Латок в нем — не перечсть!  
Кто меня случайно встретит —  
За бродягу может счесть.

Это был довольно точный портрет человека одесских окраин, слободки Романовки, Ближних и Дальних мельниц, и потому такие переделки пользовались успехом. Куплетиста-певца встречали как своего — да ведь он и сам был таким же, как сидящий в зале бедный люд.

Иногда эстрадные куплетисты отжигивались на более откровенные намеки. Куплетиста Льва Зингерталя, выступавшего в те годы в Одессе, за куплеты «Галстуки, галстучки, на шее галстучки» выслали из города.



Ведь в этих куплетах речь шла о виселицах тогдашнего министра внутренних дел Столыпина.

Были острые строчки и у Юлия Ленского:

На Руси вам жить вольготно —  
Ведь на то и ваша власть.  
Вы живете беззаботно, —  
Грабитель нас — вот ваша страсть, —

спел он однажды, обращаясь прямо к приставу и лавочнику, сидевшим за первым столиком. После этого ему в «Саду трезвости» выступать запретили. Но это его не испугало, и время от времени он продолжал петь эти куплеты. Чем бы это все кончилось — неизвестно, и каким бы артистом стал Юлий Ленский, сказать теперь уже нельзя, потому что в 1916 году его призвали в армию и отправили на фронт. Долго от него не было никаких известий, а потом матери прислали бумажку, в которой сообщалось, что ее сын Юлий Эфраимович Кемпер — Ленский «пал смертью храбрых за веру, царя и отечество».

У всех мальчиков нашей семьи были хорошие голоса. И дома часто устраивали концерты, на которых брат Эмиль копировал известных одесских артистов, а я пел песни и отбивал четстку. Сестра Лиза была режиссером и костюмершей этих концертов. «Микроб» театра, если не считать наших природных склонностей, занес, вероятно, в нашу семью тот самый дальний родственник, который служил администратором в театре «Водевиль» и был «виновником» моего дебюта в роли турчонка.

Когда мне исполнилось восемь лет и я уже два года проучился в хедере, мать взяла меня за руку и повела на Жуковскую улицу угол Пушкинской, в знаменитую хоральную синагогу Бродского. Ее называли так по имени сахарозаводчика, на чьи деньги она содержалась. Эта синагога — единственная в России, которая славилась своим хором и органом. Одесситы посещали ее не только как храм Божий, но и как «храм искусства». Певчими там были известные певцы одесского оперного театра, стремившиеся улучшить свой семейный бюджет. Послушать хор и орган приезжали из многих городов. Здесь бывали и иностранцы из разных стран. Но в эту синагогу пускали только именитых горожан, многие имели там постоянные места, как, например, градоначальник Одессы Сосновский. Бедняки же не могли попасть в этот «Дом Иеговы» и слушали хор, стоя на улице. У бедняков были свои синагоги, вроде Шалашной на Малой Арнаутской улице, где и хор был попроще и орган заменяла фисгармония.

Мы вошли в зал полуподвального помещения. Здесь происходили спевки. Как раз шла репетиция. Мощное звучание хора ошеломило меня. Моя мать была религиозной, и я часто видел ее коленопреклоненной, шепчущей молитвы перед ритуальным семисвечником. В религиозном духе воспитывала она и своих детей. К тому же мы пели молитвы в хедере. Но такого стройного и мощного звучания мне слышать не приходилось.

За фисгармонией в этом подвале сидел громадный старик с льявонной гривой седых волос, похожий на библейского пророка. Но большой белый бант на чесучовой толстовке смягчал его облик, придавая ему что-то романтическое. Это был главный дирижер и композитор синагоги Новаковский. Увидев нас, он дал знак, и хор смолк. Так как мы в нерешительности топтались у дверей, Новаковский встал и подошел к нам.

— Господин Новаковский, — сказала мать, — теперь я привела к вам моего младшего мальчика.

Говоря это, мать, наверно, надеялась, что главный дирижер хора помнит, что старшие ее сыновья Зиновий и Эмиль уже поют в хоре.

— Ваш сын, мадам Кемпер, еще не дорос до такого хора, где поет сам Пиня Миньковский.

— Но вы, господин Новаковский, не знаете, какой у моего Володыня голос! — возразила мать. — Я уверена, — продолжала она, — что самому Пине Миньковскому понравится такой альт.

Новаковский посмотрел на меня еще раз, уже внимательней, взял за руку и подвел к фисгармонии.

— Повторяй за мной, — сказал он, начав играть и петь, — до... ре... ми...

Сам я, по причине своего малолетства и волнения, не запомнил, как прошел экзамен, как повторял ноты за Новаковским, но мать столько раз, не пропуская ни одного знакомого и родственника, рассказывала об этом испытании, что ее рассказ запомнился мне слово в слово.

С гордостью мать сообщала, как я четко пропел всю гамму. Как с каждой повышающейся нотой мой голос становился сильнее и увереннее, как я точно повторял за Новаковским ноты в любом порядке, и он определил у меня абсолютный природный слух. Голос матери дрожал от волнения, едва она доходила до того места, когда Новаковский посадил меня на свои колени и сказал:

— У этого мальчика действительно звучный альт. Для начала мы будем поручать Володе небольшие самостоятельные партии, а в дальнейшем, я надеюсь, он станет солистом нашего хора. — На этих словах все хористы, более ста человек, особенно мои братья Зиновий и Эмиль, зааплодировали и с возгласами «браво, кацапчик» (эта кличка впоследствии так и осталась за мной) поздравили меня с выдержанным экзаменом. А Новаковский продолжал: — Плату ему положим... — он посмотрел на небогатый наряд матери, на мои стоптанные туфельки... — плату ему положим три рубля в месяц, а сверх того — по двадцать копеек за каждые похороны...

Мы вышли окрыленные. Мать обняла меня и прослезилась:

— Вот теперь и ты, мой «мизынек» (самый младший), стал кормильцем.

На радостях мы свернули на Ришельевскую улицу и пошли в кондитерскую Гетинга, где мать купила мой любимый бублик за две копей-

ки с семитатью, а ведь раньше она покупала мне только за одну копейку и без семитати (так называли в Одессе разновидность мака), да еще прибавила две лимонки, очень вкусные леденцы.

Так в восемь лет началась моя трудовая жизнь. С утра я шел в хедер, а в середине дня — на спевку в то же полуподвальное здание. Мы репетировали песнопения для служб по пятницам и праздничные программы. Ноты я выучил быстро. Петь в хоре мне нравилось, нравилось звучание органа, музыка Баха и Бетховена. А когда мой детский голос сливался с другими детскими голосами — детей было не менее двадцати — тридцати человек — и со всем хором, мне казалось, что я становлюсь сильным, как великан.

С каждым днем я все больше входил во вкус хорового пения, и, чувствуя, как крепнет и развивается мой голос, я стал затягивать некоторые ноты, и часто так случалось, что хор умолкал, а я все еще тянул ноту. Делал это не нарочно, так у меня получалось само собой, от удовольствия. Но тогда ко мне подходил Новаковский и дирижерской палочкой стучал слегка по голове. А потом говорил:

— Да, этот мальчик будет артистом. Кто знает, может быть, растет конкурент самому Пине Миньковскому.

Постепенно я начал понимать дисциплину хора, и палочка дирижера все реже и реже касалась моей головы. Когда настало время допустить меня к службе, мне выдали форму: черную рясу, феску и талес — нечто вроде белого шарфа с черными по длине полосами и белыми кистями. Надев облачение, я почувствовал себя настоящим кантором.

Вскоре Новаковский начал поручать мне самостоятельно совершать небольшие ритуальные действия, например, подносить чашу красного вина и петь при этом несколько фраз. Казалось бы, религиозность, привитая матерью с раннего возраста, от всего этого должна была во мне укрепляться. Праздничные службы, например, очень нравились мне своей торжественностью и нарядностью. Но получилось как раз наоборот. За четыре года, что я прослужил в синагоге, я постепенно становился безбожником. Несколько случаев дали этому толчок. Главной причиной явился, как ни странно, мой кумир Миньковский.

Я замирал от восхищения, когда кантор Миньковский — высокий, красивый, с блестящими черными волосами, выбивавшимися из-под фески, облаченный в черную шелковую рясу — всходил на алтарь. Его не случайно называли «иудейским соловьем». Едва начинал звучать его редчайшей красоты сильный тенор, его бельканто, мы, певчие, особенно дети, готовы были поверить, что он и есть наместник Бога на земле. Я много слышал потом замечательных канторов, это были блестящие оперные певцы, — такие, как Квартин или Сирота, а позднее Пинчик, но Миньковский оставил самое сильное впечатление.

Однажды хоронили одного из членов семьи банкира Ашкинази. Серебряный гроб везли на высоком катафалке шесть пар лошадей. По обе стороны шли кучера на сверкающих цилиндрах. На кладбище гроб опустили на постамент, и хор во главе с Миньковским начал в последний раз отпевать покойника.

Жизнь уже делала свое трезвое дело, и я, мальчик, младший сын многодетной семьи, стоя у гроба в толпе певчих, подумал: «Почему так мало умирает богачей?» Бедняков наша синагога не хоронила, а ведь двадцать копеек никогда не были лишними в нашей семье.

После похорон мы собрались в одном из кладбищенских помещений. Завязался разговор о нашей работе. Кто-то вдруг сказал, что за эти похороны Миньковский получил пятьсот рублей. Это была неслыханная сумма. Бывало, что ему платили по сто, двести рублей. Но пятьсот! И как-то так получилось, что певцы постарше и посмелее окружили нашего «иудейского соловья» и прямо спросили:

— Как же так получается, господин Миньковский, что вы получаете пятьсот рублей, старшие хористы по-прежнему рубль, а мальчики и вовсе двадцать копеек. Несправедливо ведь!

— Ну, такому певцу, как мне, — начал было нараспев Миньковский, — это не так уж много... — Но вдруг, сменив тон, он заговорил простым, дружеским голосом, — откровенно-то говоря, друзья мои, мне стыдно заниматься погребальным делом. Что я — шут, ходить по городу в полном облачении. Три раза приходится отпевать покойника — и дома, и в конторе, и на кладбище, и я все время иду за катафалком. Для меня, первого кантора страны, — это позор. Назначая родственникам покойного такую сумму, я был уверен, что они откажутся. Но они не отказались. А раз так, душа из них вон, пусть платят за позор.

Впечатления накапливались, а вместе с ними испарялось благоговейное отношение к религии. Делился своими сомнениями с мамой, но она отмалчивалась. А однажды сказала так:

— Я верю в Бога и в то, что он для всех един. Я помню, как в пятом году нас всех спас русский священник, как он загородил дорогу погромщикам... Поднял крест — и разъяренная толпа отступила.

И она по-прежнему молилась и соблюдала все посты.

Но что только не предпринимала моя мать, где только не искала средств для облегчения жизни семьи! Когда в 1913 году разнесся слух, что в Одессу приезжает царь Николай Второй, мать, пересчитав денежные запасы, взяла меня за руку и со словами: «Шутка сказать, сам «кейсер» приезжает в Одессу» — повела в магазин, где купила мне фуражку с кокардой, кожаный пояс с блестящей пряжкой.

А через несколько дней, когда весна в Одессе была в разгаре и город благоухал сиренью, я с мамой стоял в шеренге младшеклассников Первого казенного училища, куда я поступил в этом же году по десятипроцентной норме. С разных сторон на Пушкинской улице, недалеко от вокзала, раздавались нестройные, но громкие крики «ура!». Как ни ста-

рался пристав, проводивший эту репетицию, но мощного «ура!» выжать из младшеклассников не удавалось.

— От дискантов какая мощь! — сокрушался пристав. Но оказавшись человеком сообразительным, он привлек к этому «ура!» родителей и стоявших позади старших учеников. Репетиция продолжалась довольно долго, но сама встреча прошла быстро и незаметно: царь проехал в медленно идущем автомобиле, поглядывая по сторонам и время от времени поднимая руку. Вместе с ним катилась волна приветственных «ра». Он проехал; еще немного потоптавшись, все стали расходиться.

Уставшие и голодные, возвращались мы домой. Мать была явно разочарована. Чего-то она от этой встречи ждала. Может быть, надеялась, что царь заметит и поддержит бедную многодетную вдову? По некоторым репликам в семейных разговорах, оставшихся у меня в памяти, эта догадка не лишена смысла. Во всяком случае, когда мы, едва волоча ноги, вернулись домой и соседка с нескрываемой завистью начала расспрашивать мать о встрече «из самым государем», то мать с присущим ей темпераментом сказала:

— Чтоб царь Николай Романов имел столько сил жить, сколько я имела сил кричать ему «ура!» И все без толку, — прибавила она совсем тихо. — Да и чего можно ждать от человека, устроившего в Одессе в пятом году такой фейерверк! — «Фейерверком» одесситы называли погромы.

Однажды мать привела меня и старшего брата Эмиля в театр «Водевиль». Антрепренер этого театра Яков Георгиевич Шошников, кроме представлений для взрослых, создал утренний театр для детей. Детскую оперу. Оркестром дирижировал — он же и писал музыку — А. Бак, а исполнителями были дети — мальчики и девочки от шести до тринадцати лет. «Артистов» набирали по соседству, в бедных районах, на Молдаванке. Читатель может спросить, а почему же только из бедных районов? Да просто потому, что в богатых семьях к артистам относились как к людям второсортным.

В театре меня с братом прослушали, сказали, что мы годимся, и сразу дали роли в опере «Красная шапочка». Брату — роль Волка, а меня поставили на роль Цветочка в хоре. На протяжении многих десятилетий наши споры с братом часто заканчивались его тирадой о том, что он-то уже был солидным человеком — Волком, а я всего лишь Цветочком, существом хрупким, и потому должен ему уступать.

Мать пригласила на дебют всех своих родственников — человек пятьдесят. Добиваясь контрамарок, она доказывала, что в этот «исторический» день не должен быть обижен ни один брат, ни одна племянница.

Быстро выученные партии мы удачно исполняли в спектакле, так я предполагаю, что удачно, потому что буквально через несколько дней нам дали исполнить самостоятельный дуэт двух солдат для дивертисмента. Шла война, и это был дуэт на патриотическую тему.

Когда номер был готов, нам сделали военные костюмы и однажды поставили в кулисах, сказав, чтобы здесь мы ждали своего выхода. Мы послушно заняли указанное место, готовые ринуться на сцену по первому сигналу. Несколько раз мы слышали, как помощник режиссера Климов кричал:

— Братья Коралли, готовьтесь к выходу.

Но мы на эти призывы не обращали внимания, так как не знали, кто такие братья Коралли, хотя и видели накануне афишу дивертисмента, в которой стояло: «С участием братьев Коралли».

Наконец зазвучало вступление к нашему номеру, и мы опять слышим голос Климова:

— Братья Коралли, на сцену!

Спокойно стоим, никак не предполагая, что объявлен наш выход. На сцене пауза. В зале начинается шум. Мы стоим. Вбегает разъяренный директор театра «Водевиль» Шошников и бросается к Климову:

— Почему пауза? Где братья Коралли?!

— Я не знаю, я уже много раз выкликал их, но они не отзываются.

Увидев нас, перепуганных, стоявших в кулисах, Шошников дал нам пинок, и мы молниеносно выскочили на сцену. И как ни в чем не бывало исполнили свой дуэт:

Вмиг готовится солдат  
На торжественный парад...

Дуэт, который мы хорошо знали, вот только не знали, что братья Коралли — это мы и есть. Псевдоним-то Шошников придумал, да еще выбрал красивую и популярную в то время фамилию, позаимствовав ее у знаменитой балерины императорских театров Веры Коралли. Вот только сказать об этом маме и нам с братом он забыл.

Рядом с нашим домом находилась бакалейная лавочка, ее хозяином был бывший моряк черноморского флота, сосланный в 1905 году за участие в мятеже на крейсере «Очаков», которым руководил лейтенант Шмидт.

В конце 1916 года он был освобожден, поселился в Одессе, и в скором времени с одним греком открыл маленькую бакалейную лавочку, в которой было все, начиная от кипятка в специальном кубе и кончая колониальными и гастрономическими товарами. В моей памяти возникает крепкий мускулистый и добродушный дядька с окладистой бородой, прозвище ему дали — «Лейтенант Шмидт». Прославился он на Молдаванке еще и тем, что отпускал продукты в кредит, — как он любил говорить «на крейду», то есть записывал долги мелом на доске. Мама также пользовалась этим кредитом.

В 1917 году на шестое января в театре «Водевиль» был назначен мой бенефис, весь сбор с которого за вычетом расходов предназначался бенефицианту. К этому времени в лавочке «Лейтенанта Шмидта» по на-

шей семье «на крейду» накопился большой долг. Вся надежда на покрытие этого долга возлагалась на мой бенефис. Но буквально за день до бенефиса в связи с праздником «Днем крещения Руси» (шестое января по старому стилю) бенефис был отменен. Вся наша семья, и в особенности мама, были в ужасе... Ведь этот бенефис фактически был бенефисом «Лейтенанта Шмидта»... Какие только проклятия не сыпались на головы династии Романовых заодно с помощником полицмейстера Беспалко (я хорошо запомнил эту фамилию), запретившего в этот день такой необходимый нашей семье бенефис.

Мое первое выступление для взрослой вечерней публики состоялось, когда мне было десять лет, и оно имело успех. Стоявшие за кулисами знаменитая певица Иза Яковлевна Кремер и ее импресарио Ефим Борисович Галантер поздравили мою маму, всегда меня сопровождавшую, с удачным дебютом сына. Сам я не боялся публики ни взрослой, ни детской, а взрослые, слушая бойкого мальчика, да еще распевającego патристические песни и злободневные куплеты, естественно, умилялись.

Мы, дети, по-своему откликались на события жизни тех лет. Когда в феврале 1917 года было объявлено о падении царского режима, когда в разговорах и газетах замелькало слово «Свобода», то для меня сразу же написали текст песни, положенный на маршевую музыку:

Братья, праздник великий у нас,  
Славьте хором столь радостный час.  
Мы свободны теперь и пойдем вперед  
За Русь, за великий народ.

А когда грянула Октябрьская революция, куплетист Зингерталь пел: «Он бросил всем радостный клич! А гит ентыв — Владимир Ильич!» (С хорошим праздником, Владимир Ильич.)

Конечно, мы, я, во всяком случае, в свои неполные двенадцать лет не очень-то осознавали значимость этих событий. Но все вокруг были возбуждены, выкрикивали лозунги, и я также ликовал.

Яков Георгиевич Шошников часто устраивал в своем театре «Водевиль» благотворительные вечера. Теперь, по слухам, готовился митинг-концерт, сбор которого полностью поступал в пользу детей — сирот войны. За несколько дней до этого концерта к нашему дому подъехала машина, из нее стремительно вышел Шошников. Поднявшись к нам на второй этаж, он вручил матери письмо от имени Комитета помощи детям-сиротам за подписью профессора Владимира Петровича Филатова, письмо, в котором была просьба разрешить ее сыну принять участие в этом концерте. Получив согласие матери, Шошников тут же дал ей стихи, сочиненные им самим для столь значительного события, стихи, которые я должен был читать в концерте.

Уходя, Шошников напомнил, что на сей раз благотворительный вечер будет проходить не в театре «Водевиль», а в самом знаменитом оперном театре, так как митинг-концерт дается в честь Котовского по случаю его освобождения с каторги. Одесситы устроили ему торжественную встречу. Не менее торжественно было вечером в оперном театре, где в окружении рабочих в ложе сидел Григорий Иванович Котовский.

Не без волнения, уважаемый читатель, я снова переживаю эти незабываемые дни 1917 года. Имя Котовского уже в то время было хорошо известно, о его подвигах рассказывали легенды, называли грозой румынских бояр. Для меня он был героем, вроде Робин Гуда. Мысль о том, что я должен прочесть стихи, обращенные к самому Котовскому, казалась мне просто фантастической.

Я читал самозабвенно и радостно, не замечая, какие, в сущности, слабые вирши я произношу.

Ура! Котовский здесь, — сегодня с нами!

Его с любовью встретил наш народ.

Встречали радостно, с цветами —

С рабочим классом он идет.

Этот концерт имел для меня и еще одно важное значение. В нем участвовало много одесских артистов, но именно в этот вечер мне больше всех запомнился Леонид Утесов. Он был тогда совсем молодым, однако на одиннадцать лет старше меня. Участвуя с ним часто в концертах, я с удовольствием смотрел его выступления. Обычно он читал рассказы или исполнял в дуэте с Клавдией Новиковой сценки из оперетт. В этот вечер он исполнил новый номер — куплеты «Одесские новости». Номер и исполнение имели такой успех, что зал не хотел отпускать артиста со сцены. Я же смотрел на него во все глаза. Утесов изображал одесского газетчика, юркого, вездесущего мальчишку с сумкой через плечо, который выкрикивал наиболее сенсационные новости, приплясывал и задорно распевал куплеты. Он сам придумал номер, надо сказать, что для эстрадного искусства это была великолепная находка. Текст куплетов мог меняться до бесконечности и всегда был злободневным. На этом концерте бурю аплодисментов вызвала реприза, которую газетчик — Утесов подал как экстренное сообщение:

Котовский явился — буржуй всполошился!

Торжественный митинг-концерт закончился аукционом, на котором разыгрывались привезенные Григорием Котовским с каторги кандалы. Я видел эти кандалы; они лежали на маленьком столике, стоявшем на сцене, и мне тогда почему-то показалось, что под тяжестью и грозным смыслом этих маленьких колец изящный столик съезжился и как бы погнулся свои тоненькие ножки.

Аукцион проводил конференсье Марк Добрынин, и одесситы разных сословий, заполнившие в этот вечер оперный театр, не скупились,



понимая благородные цели аукциона. То и дело назывались крупные суммы, размер их быстро увеличивался. Наконец «шоколадный король» Крахмальников назвал такую цифру, что зал ахнул, и никто уже не смог ее перекрыть. Он поднял цепи и сделал приветственный жест в сторону представителей нового режима. Он явно искал популярности. Но характерно, что когда, спасаясь от революции, он бежал за границу, кандалы с собой не захватил. Их нашли у него в квартире и передали в музей.

По окончании вечера Котовский пришел за кулисы и всем артистам пожал руки. Пожал мне и даже моей маме. Если только мне не показалось, наклонившись к маленькому мальчику, Котовский чуть дольше задержал мою руку в своей энергичной и твердой. От этого пожатия я на всю жизнь сохранил впечатление, как от прикосновения к чему-то сильному, здоровому, жизнерадостному, одним словом, богатырскому. Григорий Иванович Котовский назвал нас первыми артистами революционной эстрады. И так убедительно сказал, что мы все еще непременно встретимся, что никто в этом не усомнился.

С тех пор как я увидел «газетчика» Утесова, что-то такое изменилось в моем отношении к тому, что я исполняю, и к тому, как я исполняю. И именно с этого вечера я стал задумываться не только над самим фактом выступления, но над его содержанием и формой. Не знаю, подражал ли я Утесову по молодости лет или его прием был непреодолимо заразительным, но через некоторое время я заметил, что на сцене я не стою неподвижно, исполняя куплеты и песенки, а как бы невольно приплясываю, двигаясь в темп музыки. Тот вечер я считаю для себя переломным, вечером повзросления. Конечно, не сразу и не быстро дал он ощутимые результаты, но во мне началась определенная профессиональная работа.

Весной восемнадцатого года к нам домой пришел известный в Одессе импресарио Михаил Пинтер. Мы были уже знакомы — он устраивал мне контракты в иллюзионах. Маленькие иллюзиончики шли обычно после демонстрации фильмов

Михаил Пинтер был толст, добродушен и любил эстраду. Он хорошо относился к артистам, особенно к начинающим, и с каждого выступления брал весьма умеренный процент. Его любили. Постоянным помощником Пинтера был маленький худенький Федя Сутин. Но на сей раз Пинтер явился самолично! Причина оказалась серьезной.

— Я пришел вам сказать, Полина Леонтьевна, — обратился он к матери, — что ваш Володя стал таким артистом, то есть единственным в Одессе малолетним куплетистом, что его можно уже отправить на гастроли. Я договорился с антрепренерами иллюзионов в Екатеринославе, Херсоне и Николаеве и могу предложить вам хорошую сумму, которая вполне вас устроит. Но нужен новый репертуар, написанный специально для Володи, что-нибудь злободневное. Представляете, как это будет выглядеть? Двенадцатилетний мальчик поет куплеты! Надеюсь, что вы не откажетесь.

— Но Володя совсем ребенок! Как отпустить его одного?

— Зачем же одного! Никто не говорит, что одного. Вы поедете вместе с ним. Ваш проезд и гостиница будут тоже оплачены.

Немного поколебавшись, боясь необычности предприятия, мать все-таки согласилась. И сейчас же начала действовать.

Нужны были злободневные куплеты, и мы пошли к единственному автору, которого хорошо знали и на которого могли положиться, мы пошли к Максиму Поляновскому, с его стихами я выступал в театре Шошникова.

— Вы знаете, Макс,— сказала мама без дальних предисловий,— моему Володе предложили гастроли, но нужен новый злободневный репертуар.

Поляновский отнесся к этому сообщению очень серьезно и стал расспрашивать, кто наш антрепренер и в какие города мы едем. Мать все ему подробно рассказала.

— Господин Пинтер уверяет, что такой мальчик, как мой Володя, если он будет петь злободневные куплеты, получит большой успех у публики. Вы Володю знаете давно и должны написать ему самые лучшие куплеты.

— Хорошо, мадам Кемпер, я постараюсь написать хорошие куплеты.

— Только смотрите, чтобы это имело успех у публики, ведь мы едем на целых пять недель! — втолковывала она автору. — И пишите быстрее, нам же надо скоро ехать на эти... на гастроли. — Новое для себя слово она произносила еще не очень уверенно. Поляновский сказал, чтобы мы пришли через два дня.

Надо заметить, что со времени моих выступлений мама очень пристрастилась к театру. Раньше, когда еще был жив отец, они ходили в театр от случая к случаю. Но после моего дебюта в «главной» роли турчонка в спектакле «Запорожец за Дунаем» мать стала завзятой театралкой. Теперь она не пропускала ни одного моего выступления и всегда требовала, чтобы ее посадили в первом ряду. Она очень гордилась своим сыном. И внимательно прислушивалась к разговорам окружающих. Если улавливала, что кто-то произносит мое имя, сейчас же сообщала незнакомым людям:

— Это мой сын.

Но сколько бы сына ни хвалили, ей всегда было мало. Часто она сама обращалась к соседям по креслу и спрашивала: «Как вам нравится этот мальчик?» Слыша в ответ добрые слова, не выдерживала и признавалась: «Это мой сын». Но в первые годы ее, как и меня, волновал и радовал только сам факт выступления. В том, что я пел, она не очень разбиралась. Образование у нее было самое элементарное: она едва умела читать и с трудом выводила свою фамилию.

И вот мы снова у Поляновского, сидим и слушаем сочиненные им куплеты. Он написал их на мотив известной народной украинской песни «Сердце мое».

Нынче всюду там и тут  
Песни новые поют.  
Вид Киёва до Берлина  
Ще не вмерла Украина.  
Хай живе, хай живе!

Слова первого куплета никакого особого впечатления на меня не произвели, но музыка, ее живой лукавый ритм понравились. Почему-то в памяти у меня мелькнул пританцовывающий Утесов, и последующие куплеты уже как-то сами собой легли на душу.

Куплет звучал за куплетом, увлеченный автор сам начинал напевать, а припев я уже невольно и с удовольствием повторял вместе с ним. Мама же время от времени прерывала чтение и озабоченно спрашивала:

— Макс! Скажите мне правду — это смешно? Это будет иметь успех у публики?

Чтение закончилось. Поляновский мне объяснил, что эти куплеты надо петь как бы от лица наивного украинца и чем наивнее он будет выражать свою радость, тем будет смешнее. Мама взяла листки бумаги, уложила их в большой старомодный ридикюль и сказала, что гонорар будет выдан автору по возвращении с гастролей. Могли ли мы в этот миг предвидеть, что уносимые в ридикюле тексты понравятся публике значительно больше, чем даже смел рассчитывать семнадцатилетний автор. Наступил день отъезда. Время с появления у нас Пинтера, заполненное хлопотами, прошло слишком быстро, мы не успели даже как следует осознать, что впервые уезжаем из Одессы в другой город. И только в вагоне, когда поезд тронулся, мы с мамой испуганно посмотрели друг на друга...

И вот мы в Екатеринославе (ныне Днепропетровск). Первое, что бросилось нам в глаза, была афиша, сообщавшая о гастролях «вундеркинда куплетиста Володи Коралли в своем собственном оригинальном репертуаре». Кстати сказать, ни я, ни мама не знали, что значит слово «вундеркинд», скорее всего мы принимали его за синоним к слову «артист», а спросить у кого-нибудь стеснялись.

Иллюзион «Солей» — место моего гастрольного дебюта. Я выхожу и объявляю, что исполню злободневные куплеты «Хай берут, хай везут», посвященные нашему товарообмену с Германией. Пианист сыграл ригурнель, зрители, узнав мелодию популярной песни, оживились. Я спел первый куплет и перешел ко второму:

По дороге немцы шли,  
Ну и в гости к нам зашли.  
Хлеб и сахар берут  
И с собою везут.  
Хай берут, хай везут...

Я почувствовал вдруг, как зал насторожился, затих, и это меня только подзадорило.

Заберут у нас пшеницу,  
Кукурузу и ядрицу.  
Ни к чему теперь нам стало  
Кушать яйца, мед и сало.

Хай берут, хай везут...

Я привык к тому, что во время пения зритель слушает и молчит. Но в этот раз происходило все по-другому. Не успевал я дойти до рефрена, как люди, сидящие в зале, подхватывали слова и начинали скандировать: «Хай берут! Хай везут!» Эти слова они повторяли несколько раз и голько когда замолкали, я мог начать следующий куплет.

И слушатели снова подхватывали припев. Наконец я добрался до последнего куплета:

Як товарообмен начнут,  
Нам с Берлина привезут  
Папетри, булавки, соду  
И слабительную воду.

К нам везут, нам дадут!

Трудно себе вообразить, что делалось по окончании куплетов. В зале крик, шум, аплодисменты, требования повторить куплеты еще раз. Я даже не понимаю теперь, как я тогда выдержал это и не растерялся. Может быть, ошеломляющий успех, причину которого я не понимал до конца, меня поддерживал. К тому же я видел в первом ряду сияющую маму.

Три раза за вечер после каждого сеанса убрали экран, и три раза выходил я к зрителям со своими куплетами, успех которых с каждым разом увеличивался. Вернувшись после последнего сеанса в гостиницу, мы с мамой не могли нарадоваться удаче и от души хвалили нашего замечательного автора.

На следующий день, не успев я выйти на сцену, как публика встретила меня возгласами:

— Володя, давай «Хай берут, хай везут»!

И чем больше я их исполнял, тем больше входил в роль этого наивного украинца, который становился у меня уже до того наивным, что где-то это могло быть воспринято как хитрость.

На третий день мы с мамой на улице слышали отдельные строчки куплетов и припев. Наша радость все увеличивалась, мы уже не ограни-

чивали своих мечтаний и планов. Мать была счастлива, что наконец-то сумеет покрыть долги в бакалейной лавочке лейтенанта Шмидта. Я чувствовал себя триумфатором, когда шел в «Солей» вечером третьего дня гастролей.

И тут разразилась катастрофа.

Едва я вышел на подмостки и успел пропеть первую строчку, как в зал вошли кайзеровские чины, а экран неожиданно опустился перед самым моим носом. Не понимая, что происходит, я только услышал, как возникшая на полотне экрана тень военного произнесла на ломаном русском языке:

— Аллес! Концерт кончайль! Публикум — разойтис!

За кулисы прибежала возмущенная мама, но, не дав ей сказать ни одного слова, нас препроводили в полицейскую часть. А там долго и настойчиво допрашивали, стараясь узнать, кто написал мне эти крамольные куплеты. Не вполне понимая, в чем дело, но инстинктивно чувствуя опасность, мы твердили, что куплеты я слышал в Одессе, запомнил их и время от времени пою, но что у меня есть много других номеров.

Нас продержали несколько часов, пока наконец не убедились, что «вдова Кемпер и ее сын Володя двенадцати лет не понимают крамольного содержания куплетов». Нас отпустили и приказали в двадцать четыре часа покинуть город.

Вот тебе и успех!

Мы уехали, но как потом узнали, куплеты «выслать» из города власти не смогли, их там еще долго продолжали распевать.

Мы ехали в Николаев в полной растерянности. Но потом решили, что в Николаеве, может быть, дело обойдется и столь веселые куплеты не сочтут крамольными. Но в Николаеве, а затем и в Херсоне мои гастроли закончились точно так же. На второй, в лучшем случае на третий день выступления запрещались, и нас выдворяли из города.

В Одессу мы вернулись значительно раньше срока, обескураженные и растерянные. Владелец театра миниатюр «Зеленый попугай» ангажировал меня на несколько выступлений, но вскоре и он жестоко за это поплатился: театр был закрыт и опечатан.

Поняв, наконец, что в этих куплетах писателя какая-то неведомая опасность, мать бросилась к Поляновскому.

— Что же вы наделали, молодой человек! Когда Бог дал мне хороший контракт на пять недель в трех городах и я мечтала, что избавлюсь навсегда от «крейды» в лавочке «лейтенанта Шмидта», — вы написали такие куплеты, что я нахлебалась горя. В Екатеринославе следователь топал на меня ногами. В Херсоне я с Володией целый день сидела в каталажке. А в Николаеве стражники впихнули нас в вагон и велели никогда больше не возвращаться. Ну, а потом, вам уже известно, что хозяин «Зеленого попугая» порвал с нами контракт и сказал, что от Володиного «успеха» его самого могут посадить в холодную. Одним словом, вместо богатства — жалкие гроши за несколько дней и куча неприятностей.

Поляновский сидел растерянный не меньше нас. Он совсем не собирался, как он потом рассказывал, писать крамольные куплеты. Но эта тема носилась в воздухе, все кругом говорили, что кайзеровская Германия грабит Украину, что захватчики спешат вывезти из страны все, что можно. Теперь только он понял, какой опасности нас подверг. Будь на моем месте взрослый артист — ему бы так просто не отвертеться. Но с другой стороны, мое малолетство, мой простодушный вид, мой детский голос только увеличивали остроту этих куплетов. Мать была настолько взволнованной, что молодому автору показалось на миг, будто вместо того, чтобы выплатить гонорар, который ему обещали по окончании гастролей, мать потребует от него сейчас же возмещения убытков. Но ничего этого не произошло. Немного успокоившись, мама стала настаивать лишь на том, чтобы Поляновский написал новый репертуар. Автор, чувствуя себя до какой-то степени виновником наших тревожных, обещал написать более приемлемый текст.

— Но учтите, — сказала мама на прощание, — на этот раз я приду к вам не одна, а с родственником. Он хорошо знает, какие куплеты нужны моему Володе! Мой родственник очень театралный и понимающий человек. У него здесь на Ришельевской улице свой магазин галантерейных товаров.

Услышав о такой авторитетной комиссии, Поляновский отказался в дальнейшем для меня писать. Но слова своего не сдержал. Впоследствии мы с ним вместе работали и дружили.

Однако история куплетов «Хай берут, хай везут» на этом не кончилась.

Меня продолжали приглашать на различные выступления, и я исполнял разные песенки и куплеты из своего, уже обширного к тому времени репертуара. Но однажды, в летнем театре, на 16-й станции Большого фонтана — это дачная местность под Одессой, — когда конференсье объявил, что сверх программы выступит Володя Коралли, меня встретили возгласами: «Володя! Жарь «Хай берут!» Володя не дрейфь! Тут же все свои. Спой про товарОБМАН!» Так одесситы давно уже окрестили пресловутый товарообмен.

Я стоял в нерешительности. Но аккомпаниатор, как бы поддерживая просьбу публики, взял чуть слышно несколько тактов песни. Зрители сразу заплодировали. И я хоть и напуганный, но не очень ясно представлявший себе все возможные последствия и веря в защитную силу этой толпы, решительно запел ставшие знаменитыми куплеты. И снова, когда дело дошло до припева, слушатели дружно подхватили его.

Кто-то из знакомых, увидев Поляновского, закричал:

— Вот он — автор! Автора на сцену! Ав-то-ра!

Ошеломленный и встревоженный разоблачением своего авторского причастия к столь крамольным куплетам, автор бросился вон из театра. Едва он вышел на улицу, как около него оказался немецкий офицер.

«О!.. Доннэрвэтэр! Думкопф», — прошептал он и влепил сильнейшую оплеуху. Это и был единственный гонорар за эти злополучные куплеты.

Каким бы я ни был наивным ребенком, но после всех этих перипетий я не мог не задуматься о том, что дело, которым я занялся, — это не только развлечение, что оно может оказывать на людей более серьезное и сильное влияние. И что самому мне надо еще много понять, узнать и продумать, чтобы разобраться в том сложном положении, в которое попали из-за куплетов моя мать и я сам.

Прошло примерно лет двадцать после описанных выше событий, когда ко мне во время гастролей в Одессе обратились работники архива одесского обкома партии. Они сказали, что, разбирая документы времен захвата немцами Украины в 1918 году, они обнаружили протокол, составленный по поводу закрытия одесского театра миниатюр «Зеленый попугай». В протоколе указывалось, что закрытие произошло по причине исполнения юным куплетистом Володи Коралли куплетов «Хай берут, хай везут!»; в протоколе были зафиксированы только отдельные строки. Работники архива просили помочь им полностью восстановить текст этих куплетов. Кроме того, они хотели знать имя автора. Выказывалось мнение, что эти куплеты написал я сам или, предположили они, что это, может быть, фольклор. Я с большим удовлетворением сообщил им адрес автора Макса Леонидовича Поляновского и пообещал, что мы вместе с ним постараемся полностью восстановить текст. Впрочем, оказалось, что восстанавливать его нетрудно — уж слишком острыми событиями был он запечатлен в нашей памяти.

Я не открою Америки, если скажу, что жизнь одесских окраин восемнадцатых — двадцатых годов была причудлива.

Я очень любил одесскую публику, может быть, потому, что она меня всегда хорошо принимала, я чувствовал ее расположение и доброжелательность, ее живое внимание. Но при всем своеобразии одесская публика была, я бы сказал, профессиональна в своих оценках. У нее нельзя было проскочить, как любили говорить одесситы, — «на арапа». Я в этом убеждался не раз.

Как-то Пинтер устроил мне контракт в иллюзионе «Победа», расположенном на углу Прохоровской и Мясоедовской, недалеко от нашей Внешней улицы, с которой собственно и начиналась Молдаванка. В этом иллюзионе был свой постоянный зритель. Арендовал этот маленький, на двести пятьдесят мест, кинотеатрик некто Борисов. Это был в своем роде человек необычный. Не тем, что его семья могла составить целый концерт программы разных жанров, ибо жена и три дочери пели и играли на различных инструментах, били чечетку, а сам Борисов пел куплеты — в то время в Одессе это не было редкостью, много было таких театральных семейств. Нет, он прославился другим: Борисов придумал и осуществлял до удивления простую и вместе с тем единственную в Одессе оригинальную систему дебютов в своем маленьком театре. Из-

вестно, как трудно начинающему артисту получить возможность впервые показать себя публике.

— В моем театре это очень просто, — сказал Борисов однажды такому «гастролеру». — Хочешь петь? Приходи и пой за бесплатно. Можешь даже сначала порепетировать с аккомпаниатором. Только захвати ноты, если они у тебя есть, а если нет, то пианист сыграет тебе по слуху. Что будет дальше после этого дебюта — не моя забота. Примет публика — получишь контракт и будешь выступать в любом из арендуемых мной иллюзионов — «Мираж», «Бомонд», «Орел». Не примет публика — не взыщи.

Конечно, Борисов придумал такие дебюты не из альтруизма. Просто дилетантам не надо было платить деньги и всегда два-три таких номера в программе шли бесплатно. Заранее публику об этом не извещали, но посетители знали, что такие номера-сюрпризы обязательно будут в программе Борисова. И среди профессиональных куплетистов, певцов, музыкантов и чечеточников обязательно бывал и дилетант.

В один из таких вечеров, когда я выступал у Борисова, номера за два до меня, на сцену выпустили человека средних лет. На нем были модные полосатые брюки «Макс Линдер», визитка, рубашка с высоким отложным воротничком, галстук, малиновый жилет и шапокляк (складывающийся цилиндр). Во всем его облике было что-то до стандартности типичное для людей достатка. Черные волосы на прямой пробор, нагловатые глаза и самоуверенное лицо, при этом он держался как законченный артист и всем своим видом, да и не только видом, а и словами убеждал нас за кулисами, что так шикарно поет куплеты, что публика сейчас ахнет.

— Вот увидите, у меня будет мировой успех, сейчас увидите, что будет! — и поглядывал на всех свысока. Все молчали, только покачивали головой, видя грубые манеры биндюжника, его простоватость и слыша, как он слишком нажимает на свое раскатистое «р-р-р».

Когда он вышел на сцену, стало заметно, что «артист» растерялся. Как-то неловко поклонился в зал. Аккомпаниатор проиграл вступление, и человек запел. Публика сразу обнаружила, что у него «полный рот дикции». С трудом можно было разобрать слова куплетов, которые он приготовил для дебюта:

Я кар-р-тинку новую вам спою сейчас...

В зале рассмеялись, и это смутило исполнителя еще больше. Стал петь не в такт музыки, детонировал и дал аккомпаниатору знак начать еще раз. И снова с той же «отчетливостью» произнес:

Я кар-р-тинку новую спою сейчас...

Теперь раздался уже не только смех, но свист и особые прогоняющие хлопки. Однако куплетист попытался начать еще раз свои «шикарные» — как он говорил до дебюта — куплеты. Тогда уже не выдер-



жавшая публика закричала дружно и решительно: «В будку! В будку!» — что означало «Долой со сцены!»

Теперь уже не выдержал «куплетист», он прекратил пение, подошел к пианисту, забрал ноты, повернулся к зрительному залу и крикнул:

— Жлобы! Что вы орете! Что вы свистите! Жлобы! Я такой же жлоб, как и вы! Подумаешь, очень мне надо петь куплеты? Я загостовщик, я мастер по коже! — И под дружный, но не злобный хохот всего зрительного зала покинул сцену.

До сего дня не могу понять, как это простая одесская публика, даже в самом затерянном театрике, судила всегда не только беспристрастно, честно, по заслугам, но и точно. Зрители с удовольствием участвовали в игре «дебютов», которые им предлагал предприимчивый Борисов. Но в оценке не кривили душой. Наверно, у них было тонкое чутье, потому что ни образования, тем более специального, ни особенных знаний у них не было — талант же они угадывали сразу. Не потому ли так трудно было завоевать успех в Одессе! Был случай, и это было на моей памяти, когда известный петроградский куплетист после своего выступления перед одесской публикой, выйдя гордо, несмотря на весьма жиденькие аплодисменты, спросил: «Ну... Как?» А ему кто-то крикнул: «Так именно нет!»

Как-то выступал в иллюзионе «Орел», перед выходом на сцену мне шепнули, что в зале сидит налетчик Мишка Япончик и его, как он их называл, «мальчики». Шел девятнадцатый год — время для Одессы тревожное, неопределенное, когда власть менялась, как в калейдоскопе. А на каждой окраине — будь то Пересыпь, слободка Романовка или Чумная гора, — гнездились какая-то шайка. Но о Мишке Япончике рассказывали разного рода романтические истории. Говорили, что он не грабит врачей и артистов. Что очень любит ходить в театр, особенно на дивертисменты, что его «мальчики» работают очень картинно — на вечерах и маскарадах появляются в смокингах, ничем по облику не отличааясь от господ, и вежливо просят дам и кавалеров расстаться с драгоценностями. Никакой грубости, хамства, а тем более насилия не допускают, только поигрывают своими никелированными браунингами.

И я, по сути дела, совсем мальчишка, с любопытством оглядывал зал, когда пришла моя очередь выступать. Но выйдя на сцену, был удивлен и разочарован: в зале сидели не налетчики, а студенты, очень много молодых людей в студенческих формах.

Вернувшись после своего выступления за кулисы, я сказал с недоумением, что никаких налетчиков не видел, а видел обыкновенных студентов.

— Эх ты, чудак, — сказал один из артистов, — это и есть налетчики, они любят носить студенческую форму. Для маскировки. — И тут же пояснил: — Представляешь, устраивают в театре облаву, как это часто за последнее время бывает, зажигают свет, а в зале сидят одни студенты.

И мне показали сквозь дырочку в занавесе Мишку Япончика. Я жадно рассматривал его. Ему было лет тридцать. Брюнет, широкие смуглые скулы. Обращали на себя внимание беспокойные раскосые глаза. Они мгновенно и как-то незаметно перебегали с предмета на предмет, казалось, что он смотрит на все и на всех сразу. Он часто оглядывался. А одет был богато и несколько мрачновато. Пальто украшал черный карулевый воротник, шапка того же меха лежала на коленях, едва придерживаемая рукой. Пальто было расстегнуто, и виднелись черный костюм и того же цвета косоворотка. Он сидел на крайнем месте, поставив ногу в проход, словно каждую минуту готов был вскочить. Впрочем, его настороженность и напряженность были понятны: надо было каждую минуту быть начеку.

Как раз в это время театральную Одессу взбудоражил невероятный случай на одном из вечеров в театре «Комета», который также посещали «студенты». Владелец этого театра Альберт Чечельницкий, не в пример изобретательному арендатору театра «дебютов» Борисову, мог позволить себе показывать в своих программах лучших артистов, гастролировавших тогда в Одессе, таких, как Иза Кремер, Александр Вертинский, Юрий Морфесси, Энрико Расстелли, Жак де Жасси, Павел Троицкий. В этот вечер, едва прошло два-три номера, вдруг на сцену вышел один из «малычков» Япончика и сообщил, что у любимца публики, популярного куплетиста Александра Франка, который должен выступить на этом вечере, украли фрак и лакированные лодочки.

— Я уверен, — закончил оратор, — что это не наша работа, не наших людей... Но фрак и туфли должны быть немедленно найдены, потому что, во-первых, не сможет сегодня выступить наш любимый куплетист, а во-вторых... это же позор для всех присутствующих здесь «студентов»!

И дивертисмент продолжался.

Куплетист Александр Франк, кроме голоса и салонной манеры исполнения, славился тем, что выходил на сцену каждые три дня в новом фраке. Их было у него — синих, зеленых, красных, золотистых — целая коллекция. В этот раз он должен был появиться во фраке небесно-голубого цвета. Этот цвет и соблазнил, наверно, неопытного, забредшего невесть откуда вора.

Программа уже подходила к концу, когда конференсье объявил последний номер:

— Выступает любимец публики Александр Франк.

В воздух взлетели десятки «студенческих» фружек.

Выйдя на сцену в своем шикарном фраке, Александр Франк сказал:

— Дамы и господа! Прошу прощения, что кой-кому доставил хлопот. А что касается приезжего гостя, который не учел местных порядков и прихватил, правда, на короткое время, мой фрак, то, как мне кажется, после недельного «отдыха» он все же будет в состоянии уехать из Одессы в свою родную Вапнярку.

Этим витиеватым намеком артист дал понять, что «варяг» пойман и наказан. Найти его, наверно, не составляло труда: налетчики хорошо знали все места, где сами сбывали «благоприобретенные» вещи.

Даже те, кто не бывал в Одессе, знают, что есть там знаменитый рынок Привоз. В литературе он описан не менее живописно, чем знаменитое Чрево Парижа. Я же этот Привоз знал очень хорошо: он был недалеко от нашей улицы, и мы с мамой постоянно покупали там продукты. Но очень скоро он стал одним из мест моих выступлений, а крестьяне окрестных сел моими слушателями. Дело в том, что рядом с Привозом был трактир, служивший и постоянным двором. Хозяин трактира Сендер, кроме музыкальной машины, своеобразной автоматической шарманки, наигрывавшей популярные в те годы мелодии, услаждал постояльцев еще и дивертисментом, для чего приглашал известных в Одессе артистов. Пели под аккомпанемент трио — скрипка, кларнет, контрабас, — игравшего по слуху.

Пригласили и меня для выступлений. И, может быть, никогда до этого не знал я более ароматных и живописных подмостков. Во дворе трактира стояли подводы, доверху наполненные крестьянскими продуктами. Тут же топтался приведенный на продажу скот. Основными постояльцами двора были немецкие колонисты, жившие в пригородах Одессы — Кляйнлибентале, Грослибентале, Люстдорфе. Они привозили в добротных мешках муку высшего помола, так называемую четырехнолку, бруски ароматнейшего сливочного масла, завернутые в салатные листья, и огромных размеров печеные хлеба, которые, несмотря на обилие в Одессе пекарен, мгновенно раскупались. Колонисты владели особым секретом выпечки душистого, вкусного хлеба. Их упитанные лошади с подвешенными на шею торбами стояли во дворе трактира и мерно пожевывали пахнущий овес.

Посетители часами просиживали в трактире, неторопливо беседуя и поглощая один за другим чайники с кипятком и заваркой. Чтобы их наполнять, на заднем дворе трактира, в большом сарае из ракушечника, доверху заполненном штабелями дров и древесным углем, круглосуточно дымили два огромных медных самовара. Кроме приехавших торговать, здесь были грузчики, извозчики, обитатели ночлежек, промышленные «извозом»: за небольшую плату они арендовали у хозяина тачки и в больших шарообразных корзинах, покрытых мешковиной, перевозили на рынок фрукты и овощи.

Мирная идиллическая картина! Но вскоре я узнал, что этот трактир живет двойной жизнью. Одна жизнь — у всех на виду, это «пара чая» и ровный гул беседы за столами под звуки музыкальной машины или выступление артистов, тогда все умолкало, половые переставали сновать между столиками. А другая — невидимый и неизвестный сидящим в зале тайный кабинет, где шла картежная игра и на громадном столе из одного конца в другой передвигались горы золотых монет, золотых портсигаров, серег, колец с крупными бриллиантами, тяжелые золотые

цепи, иностранная валюта. Бывало, что азартная игра сменялась рукопашной схваткой и игроки стреляли друг в друга из пистолетов.

Стали поговаривать, что трактир на Привозе — самый крупный притон в Одессе и полновластным его хозяином является не тихий и добродушный Сендер и даже не его властная, с колючими, вытаращенными от зоба глазами жена Хана, а гроза Одессы Мишка Япончик.

У Сендера и Ханы была семнадцатилетняя дочь Лия, девушка редчайшей красоты. Невысокая, женственная, гибкая. Ее черные глаза были темны до синевы, и казалось, что они светятся. Да и сама она была какой-то прозрачной, словно излучающей свет. И при всей этой пышной, библейской красоте она носила... гимназическую форму с белым воротником и манжетами. Случайно ли был сделан такой выбор, но контраст был ошеломляющим. И каждый, кто ее видел, мучился загадкой, как в трактире, у таких родителей, в такой обстановке могло вырасти такое небесное существо. На нее все смотрели как на божество, сошедшее на землю.

А вскоре мне сказали, — артисты знают все, — что Лия по уши влюблена в Япончика. И тогда стало понятно, что ее гимназическая форма не проста, что она хорошо сочетается со студенческой формой налетчиков.

Выступая как-то в театре «Комета», я увидел их в первом ряду. А через несколько дней был свидетелем, как в снятом ими танцевально-концертном зале «Унион» отмечался день рождения Лии. Все было устроено с большим шиком.

За несколько дней до этого Япончик лично в сопровождении двух «мальчиков» посетил Союз театральных тружеников и просил председателя Союза Аркадия Бутлера составить программу дивертисмента, включив в нее его, Япончика, любимых артистов. В списке «любимых» оказался и я.

Но самое интересное было, наверное, после концерта. Тогда-то я впервые увидел популярный и модный в те годы в Одессе танец «Стойте! Ни с места! Руки вверх!». Его исполняли любители на городских балах и маскарадах. Он побил рекорд знаменитого «Семь сорок». В этот вечер сама виновница торжества красавица Лия исполняла его с неожиданным блеском. Танец сопровождался оглушительными выстрелами в воздух и диким гиканьем толпы, окружавшей Лию и ее партнера плотным кольцом. Партнером ее был один из «мальчиков». Плавное и грациозно неслась по залу эта девушка, возбужденная праздником, очаровательная в своем оживлении, вся как воплощенное изящество, неслась в вихре... с миниатюрным никелированным браунингом в руке. Аплодисменты и крики одобрения раздались под сводами зала, когда Лия, изображавшая налетчика, исполнила заключительную сценку танца. Она направила на своего партнера, игравшего обывателя, браунинг и крикнула: «Стойте! Ни с места! Руки вверх!» и с поразительной арти-

стичностью начала опустошать его карманы. В «режиссуре» этой сценки чувствовалась рука настоящего мастера.

Между тем наступил 1920 год. С конца 18-го за короткий срок в Одессе сменилось немало властей — быстро появлялись и исчезали французы, немцы, поляки, гайдамаки, банды Тютюника, пока наконец молниеносным кавалерийским налетом дивизия Котовского не вымела остатки всех этих банд из Одессы. Артисты эстрады на радостях устроили для освободителей города, «котовцев», концерт в иллюзионе «Ли-ра», помещавшемся на пересечении Преображенской и Успенской улиц. Концерт шел при керосиновых лампах, так как белогвардейцы, отступая, взорвали электростанцию. Странно выглядели и артисты — полуголые, плохо одетые, но веселые и охваченные необыкновенным энтузиазмом. Еще бы! Они снова выступали перед Котовским, который еще тогда, в 17-м, на концерте в оперном театре, когда возвратился с каторги, сказал: «Мы еще встретимся!»

Да, Григорий Иванович Котовский сдержал слово, он вернулся в Одессу...

Длинные горбатые улицы одесской Молдаванки стали пустеть: голодные люди уходили в поисках хлеба в различные районы Одесской губернии. Как и все, наша семья сначала оставалась после обеда не вполне сытой, а потом и вовсе голодной. Я уже привык к мысли, что благополучие нашей семьи в какой-то степени зависит и от меня, и подумал, что и мне надо что-то предпринять, но что? Я вспомнил своего приятеля Саньку, он работал в парикмахерской, расположенной на Ремесленной улице, рядом с иллюзионом «Шантеклер». Я часто там выступал, Санька приходил меня слушать. Так мы познакомились и подружился.

Я заспешил на Ремесленную улицу, думая по дороге о том, что если Санька согласится поехать со мной, то я сделаю маме «сюрприз»: таинственно исчезну и через несколько дней появлюсь с мешком муки. То, что подобный «сюрприз» может иметь для мамы и другие последствия, мне в голову не приходило.

И вот вдалеке показалась знакомая вывеска, на которой жирными, полуаршинными буквами сообщалось: «БРЫТЬЕ И СТРЫЖКА ПО ДЕШЕВЫМ ЦЕНАМ». На скамейке у входа сидел бородатый хозяин этого «салона». Он внимательно разглядывал прохожих, главным образом их щеки и подбородки. Небритых было много, но они почему-то не спешили туда войти. Что их удерживало, не знаю, уж во всяком случае, не сомнительная чистота халата бородатого цирюльника.

Проскользнув мимо тосковавшего хозяина, я зашел в парикмахерскую и сразу выложил Саньке мое предложение:

— Слушай, Санька, что я придумал. Давай поедem вместе за хлебом. Я — куплетист. Ты — парикмахер. Я буду петь, ты будешь брить. Не пропадем!

Санька был немного увалень и мямля, и я терпеливо ждал, что он

скажет. В этот момент зашел хозяин. Мне показалось, что он слышал наш разговор, но все-таки спросил:

— О чем речь?

— Да вот, Володя предлагает поехать за хлебом,— неуверенно ответил Санька,— говорит, что можем достать муки и пшена.

— И правильно говорит Володя, и поезжайте! — воскликнул хозяин, радостно хлопнув в ладоши.

Но Санька все же колебался, и, надеясь, что хозяин не согласится, сказал:

— Да-к нужно взять с собой инструмент...

— Инструмент тебе дам, и бритву, и чашку с помазком, и машинку трехнолку, но при условии, чтобы я с этого дела тоже что-нибудь имел.

Санька тоскливо смотрел на меня, готовый отказаться.

— Да не бойся ты,— подбадривал его хозяин,— раз ты с Володей, все будет хорошо.— И, придя в раж от этого предложения, хозяин весело продолжал:— Ой, ребята, я уже вижу мешок муки, крупу... И даже пару бутылок подсолнечного масла. Но только прошу вас, чтобы крупа была гречневая!

Скрепя сердце и замирая от страха, Санька согласился.

Мы сразу же собрались в дорогу. Собственно, мне собирать было нечего, так как все, что я делал на сцене, я делал, говоря словами мамы, «одним только ротом» да ногами. А Саньке хозяин тщательно завернул в тряпицу инструмент.

Наступили сумерки, когда мы, бодро шагая, приближались к станции «Одесса-Товарная». Разузнав, какой состав отправляется первым в сторону Бирзулы, подошли к теплушкам. Около одной из них в задумчивости стоял рыжий красноармеец. Чтобы уточнить направление, надо было как-то завязать разговор. Не решаясь, мы топтались на месте. Красноармеец спросил:

— Вам чего, пацаны?

Тут уж я, не стеснясь, вступил в беседу:

— Да нам, дяденька, до Бирзулы нужно, вы не знаете, какой состав пойдет до Бирзулы?

— А-а...— неопределенно протянул красноармеец и подозрительно посмотрел на нас,— до Петлюры, значит?

— Что вы, дяденька! Мы же красные! Вот, приятель мой Санька — парикмахер, а я певец. Если вы едете в ту сторону, возьмите нас с собой. Нам хлеба достать нужно. Говорят, в Бирзуле можно. Санька будет вас брить, а я буду вам петь всю дорогу веселые куплеты. Возьмите нас, дяденька.— И вдруг вспомнив висящие всюду плакаты, отчеканил: «у вас в вагоне будет культура и гигиена!»

Красноармеец оживился и радостно крикнул:

— Верно, цей шелон как раз на петлюровский хронт! Айда, хлопцы

за мной! — Он побежал вдоль состава, мы за ним. У предпоследней теплушки солдат остановился и крикнул:

— Братва! Я привел до вас папихмахтера и артиста!

И тотчас же изнутри донесся зычный бас:

— Даешь стрышку-брышку! Даешь культуру!

Нам помогли взобраться в теплушку и несколько минут молча рассматривали. Мы торопливо рассказали, кто такие и куда собрались.

— Доведем, хлопцы! Устраивайтесь и принимайтесь за дело. Скоро отправляемся.

— А струмент у тебя есть? — спросил рыжий красноармеец у Саньки.

— Спрашиваешь, — ответил тот и осторожно развернул свою тряпицу.

— Острая?

— Спрашиваешь!

— А ну, покажь!

Санька подал ему бритву, тот взял ее, полюбовался и вдруг приложил к своим черным ногтям.

Санька пронзительно вскрикнул:

— Шо вы делаете, дяденька, вы ж затупите бритву...

Но рыжий продолжал делать свое дело. Тогда снова прозвучал зычный бас:

— Эй ты, рыжак! Оставь дите! Отдай бритву.

Почувствовав поддержку со стороны, я, не менее испуганный за бритву, чем Санька, обращаясь к рыжему, сказал с невольным ехидством:

— Ногти что, я бы на вашем месте, дяденька, этой бритвой еще бы и дрова постругал.

Все засмеялись. И упрямый дядька, то ли от этого смеха, то ли от того, что обрезал палец, вернул, наконец, бритву Саньке. Тот чуть не плакал от обиды. Наверно, чтобы разрядить обстановку, зычный бас произнес:

— А ну, артист, зажарь что-нибудь наше одесское! — И я «зажарил»:

Одесса-мама,

О жребий тяжкий!

С Одессой немцы так торговлю здесь наладили!

Это были еще одни куплеты времен недавней и кратковременной немецкой власти на Украине.

В теплушку неожиданно вскочил усатый человек, по-видимому, начальник, он строго спросил:

— Мешочников нет? Сейчас отправляемся! — И стал осматривать угли.

И тут на свет божий начали выползать мешочники, волоча пудовые кули с солью. Мы притаились и не знали, что нам делать. Заметив нас, начальник спросил:

— Это кто?

— Да это ж ребята. Они нас веселят. Один бреет, другой куплеты поет. Концерт! — вступился за нас все тот же бас.

— Никаких концертов! Скоро Петлюре дадим такой концерт, что без артистов весело будет.

Начальник исчез, и тогда один из красноармейцев помог нам выбраться наружу и привел к другому запломбированному вагону.

— Айда, хлопцы, на крышу. Сюды ниhto не придэ, и вас ниhto не тронэ!

На крыше мы оказались не одни. Там уже было несколько человек. Мы устроились между ними.

В темноте были слышны какие-то звуки. Иногда раздавались даже выстрелы. Но чаще всего слышался визг и крики. Вскоре мы догадались, что это дерутся мешочники за буферный уют. Мы уснули. Когда проснулись, оказалось, что поезд наш медленно идет.

— Едем, Санька, чуешь, тихо, но едем! — Успокоенные мерным ходом поезда, опять заснули. На рассвете я первый проснулся. Наш вагон стоял. Вглядевшись в название станции, я не поверил собственным глазам. — Вот так приехали! «Одесса-Товарная». Санька, вставай! — Санька усиленно протирает глаза, читая название станции, и с удивлением поглядывал вокруг, чтобы убедиться, что наш вагон одиноко стоит в тупике.

Значит, ночью поезд просто маневрировал.

Надо было начинать все сначала. Мы решили пойти пешком до станции Дачная, а там постараться сесть в проходящий поезд. Пройти надо было двадцать две версты по степи. Но день обещал быть ясным, дул легкий ветерок, и мы бесстрашно пустились в путь. Первые версты преодолели легко, но потом нам стало казаться, что мы почти не движемся. Поэтому очень обрадовались, когда увидели вдалеке идущую нам навстречу женщину. Поравнявшись, мы спросили, далеко ли до Дачной?

— Да це недалэко... Хиба ж ще вэрст дэсят с гаком, — ответила нам приветливо молодая деревенская девушка.

Все-таки, значит, мы прошли уже половину пути. Но какими же долгими показались нам эти оставшиеся «десять вэрст» и особенно этот знаменитый крестьянский «гак»! К тому же начало припекать солнце, хотелось есть и пить. Когда в отдалении показались хаты, мы прибавили ходу, надеясь хотя бы напиться там воды. Немного не дойдя до селения, мы увидели, как возле придорожного колодца пожилой крестьянин поит из ведра коня. Подойдя поближе, разглядели сидящих в подводе старушку и мальчика.

— Дядя, пожалуйста, дайте напиться, — попросили мы.

— Видкиля вы хлопцы?



— Городские мы,— сообщил я.— Голод у нас. Идем за хлебом. Санька вот, парикмахер, а я артист. Хотите, он побреет вас, а я спою. Вы же нам дадите поесть и попить.

Крестьянин потрогал свою отросшую бороду и сказал:

— Ну давайте,— напоив нас, он перевернул ведро, сел на него и спросил:— А ты, хлопче, гарно бреешь?

— Да об этом не беспокойтесь, дяденька. Но только сначала Санька должен поесть, а то у него руки будут дрожать. Да и я натошак петь не могу.— Крестьянин вынул из-под сена завернутый в тряпку шматок старого желтого сала, отрезал два ломтика, затем отрезал ржаного хлеба и дал нам. С этими бутербродами мы справились мгновенно. И тут же приступили к своим обязанностям.

— А мыло у вас есть?— спросил клиента Санька.

— Яке там мыло,— отозвался тот,— валяй так.

Вспомнив, как рыжий красноармеец наводил маникюр на свои черные ногти, мы с Санькой тревожно переглянулись. Но делать было нечего, и Санька, намочив помазок, начал водить им по жесткой бороде. А я встал перед клиентом и приготовился петь. Увидя, как дядька подскочил на ведре, едва Санька провел затупленной бритвой по его бороде, я громко и весело затянул одну из самых популярных в Одессе песен:

На Молдаванке музыка играет,  
А на Болгарской дом один горит...

Но крестьянин, несмотря на веселый мотив и задорное приплясывание, вдруг заорал как ужаленный:

— Що це за бритва... Ох, щоб тобі... трасты матери твоей!

Чувствуя, что обстановка накаляется, я запел еще громче и веселее:

А на Болгарской дом один горит...

Но крестьянин вопил:

— Душегубы!.. Разбойники!.. Щоб вы згорели на своей Молдаванке!— И отбросив ногой ведро, он вскочил, схватил кнут и начал размахивать кнутовищем перед Санькиным лицом. Санька попятился.

— Но-но, дяденька, полегче!— крикнул я.— Мы же вас предупреждали, что без мыла брить нельзя!

Тогда дядька перекинул свой гнев на меня. Его разъяренный вид и лицо от торчавших в разных местах несбритых волос в самом деле были страшными.

— Ах ты, одесский мазурик! Я тебе сейчас покажу «но... но...»!— Он хотел добавить еще что-то, но лошадь услышав из его уст привычное понукание «но... но...», да еще произнесенное столь грозно, рванула вперед так, что старуха и мальчик вылетели из подводы пулей, а крестьянин бросился догонять лошадь. Видя такой поворот дела, мы со всех ног припустились в другую сторону.

Уставшие, голодные, подходили мы к облепленной мешочниками станции Дачной. Крик стоял неимоверный — это мешочники собирались штурмовать прибывающий поезд. Как только он остановился, беготня сотен людей увеличилась. Мы с Санькой тоже стали носиться вдоль состава, как очумелые.

— Володька! — раздался вдруг чей-то голос. — Володька, иди сюда! — Мы побежали к вагону, откуда доносился этот призыв. — Это ж наш одесский куплетист Володя Коралли! Тащи его сюда.

Нас втащили в вагон, полный махорочного дыма и храпа. Я старался увидеть знакомые лица, но в сумерках это не удавалось. «Наверно, кто-нибудь из тех, кто знает меня по выступлениям на Молдаванке».

...Вскоре я узнал, что в вагоне бойцы из отряда, который включили в 54-й Всеукраинский полк, а командир отряда Михаил Винницкий (настоящая фамилия Мишки Япончика). Сразу же после изгнания из Одессы белогвардейцев Япончик организовал отряд и предложил свои услуги для борьбы с Петлюрой. Он обещал кровью оправдать доверие молодой Советской власти.

Два дня ехали мы с Санькой в этом поезде. Состав шел медленно, из-за нехватки топлива было много остановок. На этих остановках мы бегали из вагона в вагон. Санька стриг и брил бритвой, направленной на ремне, а я пел куплеты и отбивал чечетку. Нам щедро платили, тут были купюры и «николаевские», и «керенки», украинские «шаги», и деникинские «колокольчики». Нам обещали показать место, где дешевле можно купить хлеба.

Иногда во время остановок устраивались концерты «студенческой» самодеятельности. В отряде было много студентов настоящих — они искренне хотели бороться за Советскую власть, против петлюровских банд. Они пели песни и читали стихи. Однажды на одном из таких концертов один из студентов, не рассчитав и не подумав, перед кем он выступает, читал популярные в те годы стихи Валерия Брюсова «Каменщик». Естественно, что последняя строка стихотворения «Незачем вам воровать» у большинства зрителей в силу их «профессии» большого восторга не вызвала. Исполнитель отделался «легким испугом», он просто ушел без единого хлопка. На этом концерте я исполнил свой коронный номер времен гражданской войны, злободневные куплеты с чечеткой «Лопни, но держи фасон!»

Я выступал последним. И едва затихли аплодисменты, как к пригорку на поляне, который служил сценой, направился некто в тельняшке. С пригорка было видно, как перед ним все расступились. Это был адъютант командира отряда. Он предложил мне следовать за ним и привел в вагон-салон Михаила Винницкого. Я не очень удивился этому визиту, так как его «мальчишки» не раз уже говорили мне: «Сам командир знает, что ты едешь с нами».

С тех пор, как я его видел, Япончик заметно похудел, и что-то новое появилось в выражении его лица, может быть, большая строгость.

Возможно эту строгость придавал ему модный в то время синий френч и портупея, а также огромная кобура маузера.

Встретив меня, он стал расспрашивать, как я тут оказался. Я сказал, что еду за хлебом, поэтому, заработав в вагонах много денег, — тут я даже достал из-за пазухи пачку бумажек и похвалился ими — собираюсь купить муку. Япончик с сомнением посмотрел на эту замусоленную пачку. Затем вынул из кармана две золотые пятерки и протянул их мне, небрежно заметив:

— Заработал ты много, но разве ж это деньги — мусор! Вот эти «желтячки» — это то, что «доктор прописал», на них ты скорее купишь все, что необходимо. Они вернее. В Бирзуле ты сойдешь. А мы поедем дальше, на Вапнярку. — И вдруг, прищурив и без того узкие глаза, улыбнулся и самоуверенно произнес: — Уж я покажу этому Петлюре... Откуда раки зимуют!

Он встал, и я понял, что аудиенция окончена. Вежливо поклонившись, я ушел, пораженный, признаться, этой встречей. Ведь до этого мне никогда не доводилось разговаривать с самим «королем Молдаванки».

В Бирзуле мы с Санькой сошли. И действительно, смогли купить и муки, и пшеница, и даже гречки, о которой так мечтательно говорил хозяин парикмахерской «БРЫТЬЕ И СТРЫЖКА ПО ДЕШЕВЫМ ЦЕНАМ».

А вскоре в Одессе стало известно и о дальнейшей судьбе Япончика. В первых же боях с петлюровцами его отряд был разгромлен. Неорганизованные, плохо умеющие подчиняться суровой, но осмысленной военной дисциплине, «мальчишки» оказались нестойкими бойцами и при первой же серьезной опасности бросили поле боя и позорно, не оправдав доверие молодой советской власти, бежали в Одессу во главе со своим вожаком. Под Одессой на перроне Вознесенского вокзала их задержали, и Михаил Винницкий — Мишка Япончик был расстрелян.

Казалось бы, столь живописный эпизод моей жизни завершен: один из моих экзотических зрителей расстрелян и похоронен. Похоронен... Стоп. Жизнь иногда придумывает удивительные продолжения своим сюжетам. Не прошло и 70 лет, как я узнал обстоятельства похорон Мишки Япончика. И где узнал? В Соединенных Штатах Америки, куда отправился навестить родственников на 85-м году своей жизни. А дело было так.

Как-то в разговоре с одним из моих земляков я узнал, что на Брайтон-Бич на 6-й стрит, недалеко от дома моих родственников, живет со своей женой Исаак Винницкий, родной брат знаменитого «короля» одесских налетчиков Мишки Япончика. Они приехали в США с первой волной эмигрантов в 70-х годах.

Узнав об этом, мне сейчас же захотелось его повидать, и в этом мне помог мой племянник, зубной врач Роман Дубровский. Исаак Винницкий был одним из его пациентов, но попасть в квартиру Винницкого бы-

ло не так просто. Он никого не принимал. Его буквально одолевали журналисты из многих стран и, конечно, прежде всего из Советского Союза, желая узнать подробности из жизни «грозы Одессы», героя бабелевских рассказов Бени Крика — Мишки Япончика.

Винницкий встретил меня очень тепло и сразу признался, что помнит еще малолетнего куплетиста Володю Коралли, выступавшего в иллюзионах на Молдаванке. Он работал с моим отцом в одесском порту в артелях хлебоборной конторы братьев Менделевич, грузивших зерно на океанские пароходы.

Слушал я Винницкого здесь, на Брайтоне, и нахлынули на меня воспоминания далекого прошлого...

Когда в Одессе стало известно о разгроме отряда и гибели командира (его расстрелял некто по фамилии Урсулов), «мальчики», также бежавшие с ним, поклялись отомстить за Япончика...

В городе Вознесенске, на русско-еврейском кладбище, были вырыты две могилы.

На похороны своего командира приехали его однополчане, их было около ста человек. И все евреи Вознесенска были на кладбище. Старожилы города не помнили таких пышных похорон. Михаила Винницкого — Япончика отпевал приехавший из Одессы знаменитый кантор хоральной синагоги Пиня Миньковский и певчие, солисты прославленного оперного театра. «Мальчики» командира отряда Михаила Винницкого выполнили свою клятву! На этом же кладбище, в другой могиле, местный священник отпевал покойника Урсулова.

Рассказ о Мишке Япончике окончательно завершен. Мы же, читатель, вернемся в двадцатый год, когда я, купив на конвертируемые «желтячки» муки, крупы и подсолнечного масла, приехал в Одессу.

Конечно, того, что я привез не могло хватить надолго, да еще в столь многочисленной семье. Как и все в Одессе, мы постепенно переходили на мамалыгу, заменяющую хлеб, кукурузную муку, сваренную в воде. Что бы мне еще пришлось в голову предпринять, не знаю, но как раз в это время мать получила приглашение от своего племянника из Вознесенска, небольшого городка в ста двадцати верстах на север от Одессы. Племянник писал, что их места бурные события последних лет не коснулись, что у них спокойно и вдоволь продуктов. Недолго прожил я в Вознесенске. Вскоре втайне от матери я сбежал с цирковой труппой и пространствовал с ней, распевая куплеты и танцуя, два года. Два года, обогатившие мой жизненный путь и творческий опыт, отнюдь не обогатили мои карманы. Не приобрел я ни богатых одежд, ни денежных запасов.

Но прибыв на свою родную Внешнюю улицу, я был поражен. В нашем доме мои родные больше не проживали. Где? Соседи не знали. В тревоге и растерянности направился я на Преображенскую улицу, там жила моя двоюродная сестра.

Увидев меня, худого, бритоголового (иначе в Одессу не пускали), с узелком в руках, в котором афиши, концертный костюм, визитка, полосатые брюки, манишка с бабочкой, туфли с белыми гетрами на пуговицах, канотье. В таком одеянии я как-то раз увидел на одесских подмостках одного из зачинателей куплетного жанра, Льва Зингерталея.

Двоюродная сестра не поверила своим глазам. Но убедившись, что это я, ее брат, живой и неврежденный, принялась расспрашивать и укорять одновременно.

— Мать глаза проплакала, даже портрет твой со стены сняли, чтобы не так убивалась, все причитала и молилась: «Где же он, мой тринадцатый!», а ты... Такое неспокойное время, война, тиф, голод — тебя уже и ждать перестали. — Выговорив мне все, она решила, что вот так сразу я перед матерью явиться не могу. Она пойдет со мной на Спиридоновскую улицу, где теперь живет моя семья, и хоть немного подготовит мать.

Мы шли по Одессе, и я не узнавал города, который оставил голодным, замерзшим, полуживым. Теперь улицы были полны народа, витрины сверкали, тумбы пестрели афишами театров, цирка, кабаре, фамилиями гастролеров: Орленев, Собинов, Закушняк, Папазян, сообщениями о вечерах поэтов Маяковского и Есенина. В городском саду на эстраде: Касфикис, Франкарди, «Песни улицы» в исполнении любимицы Одессы Маши Масальской. Бросилось в глаза название «Гротеск». Нэп вступал в свои права и с жадностью, торопливостью захватывал жизненные пространства.

Войдя в дом, сестра оставила меня в коридоре, а сама пошла в квартиру матери.

— Говорят, что Володя ваш приехал, — полувопросительно, полутвердительно произнесла она.

Но мать все сразу поняла и вскрикнула:

— Где, где он?

Она бросилась в коридор, нашла меня, кинулась ко мне, что-то кричала, целовала, обнимала и была вне себя от счастья. Вцепилась в меня руками, не отпускала меня ни на шаг, словно я мог снова неожиданно исчезнуть.

Через несколько дней волнение улеглось, и в права вступили насущные потребности жизни. Мы собрались на семейный совет, чтобы решить, как мне быть дальше. Два года для артиста срок большой — его могут забыть, он сам может измениться и не найти у публики прежнего понимания и симпатии, начать надо было так, чтобы не промахнуться. Прежде всего, конечно, необходим новый репертуар. Я теперь уже не мальчик, не вундеркинд, и скидки на детство не будет, а потому нужны не только новые куплеты, но и новый облик.

И мне в этом помогли и мой постоянный автор Макс Поляновский, и писатель-сатирик Мирон Ямпольский. Это о нем пишет в своей повести «Время больших ожиданий» Константин Георгиевич Паустовский:

«Жил в Одессе талантливый поэт, знаток местного фольклора Мирон Ямпольский. Самой известной песенкой Ямпольского была «Свадьба Шнеерзона».

Я люблю перечитывать эту чудесную повесть с дорогим для меня автографом: «Старому одесситу Владимиру Коралли — от старого одессита Паустовского».

После небольшого совещания с моим постоянным «режиссером» сестрой Лизой, — в нашей многолетней семье Лиза была самой образованной, она успешно закончила частную гимназию под попечительством немца Густава Шпенцера, — мы решили, что поскольку я теперь уже молодой человек, то на мне должно быть все самое модное и элегантное, но строгое. Я приобрел костюм из светло-голубого материала, лакированные туфли, так называемые «лодочки», голубую рубашку и такого же цвета «бабочку». Манера же исполнения куплетов у меня осталась прежней — легкая подача текста и в конце каждого куплета мягкая чететка.

Одесситы приняли меня так, как будто и не было двухлетнего перерыва, они приняли и мой репертуар, и мой новый облик. Хотя сам я, может быть, не очень ясно представлял, какой трудный рубеж предстояло переступить. В афишах меня теперь называли не Володей, а Владимиром. Я верил вкусу одесситов, их чувству юмора и не обращал внимания, что некоторые эстрадники называли меня (с некоторой долей презрения) «салонным куплетистом». Я с удовольствием смотрел выступления Александра Вертинского, Юрия Морфесси, Александра Франка. Они были для меня примером. Я не собирался копировать их приемы, но строгость, высокий профессионализм и законченность их манеры мне imponировали.

Случай свел меня с популярным в то время автором и куплетистом Николаем Южным. Он написал для меня куплеты с оригинальным рефреном «Ловите, ловите жар-птицу».

Старинная сказка златая  
Душе и поныне мила:  
Как всех красотой ослепляя,  
За морем жар-птица жила.  
И помнит весь мир, что когда-то,  
Всю жизнь красоте посвятив,  
Гнались за жар-птицей три брата,  
Кидая свой бодрый призыв:  
Ловите, ловите жар-птицу,  
Она улетит, улетит,  
А с нею — цель жизни умчится,  
И сердце навек замолчит.

В последующих куплетах затрагивалась модная тогда проблема омоложения и другие не менее модные проблемы. Но я чувствовал, что

куплеты получились какие-то беззубые. Мне было восемнадцать лет, и меня, как и всю молодежь, увлекала идея всемирной революции и взрыва старого мира.

Поймав как-то приехавшего на гастроли поэта из Москвы Рубена Чинарова, я попросил его дописать к этим куплетам еще один. Он меня понял и написал. И вот вне всякой связи с предыдущим под конец я стал петь:

С могучею силой Атланта  
Встает пролетарий сейчас,  
И в страхе трепещет Антанта  
Пред волей трудящихся масс.  
А красная птица по миру  
Несется с призывом: «Гори!»,  
И, кутаясь в страхе в порфиры,  
Взывают к народам цари:  
Ловите, ловите жар-птицу,  
Она прилетит, прилетит,  
И скованный мир загорится,  
Разбив свою цепь о гранит.

Я остался очень доволен этим добавлением и пел его со всем жаром, на какой был способен. О том, что это добавление выглядело, как говорят, итальянцы, «хвостом не от той кошки» и его можно было воспринять как приспособленчество, я тогда не думал. Не думала так и публика. Я был искренен в своем порыве. Это было, конечно, не приспособленчество, а просто юношеская слепота и непонимание истинного уровня настоящего высокого искусства.

В эти годы осознал я и большой пробел своей биографии — недостаток образования. Что, собственно говоря, у меня было? Три класса хедера и два класса Первого казенного училища... Война, первая мировая, затем гражданская — заниматься становилось все труднее и сложнее... Теперь же я почувствовал, как мало я знаю и как много предстоит мне узнать. Прежде всего я, конечно, набросился на книги и читал все, что попадалось в руки, но с особым интересом классические русские романы — Толстой, Достоевский, Тургенев, Чехов, Лесков, Гоголь, Горький, приключения же Майн Рида, Жюль Верна, Фенимора Купера я просто проглатывал. Литература открыла мне, как велик и многообразен мир, в котором я живу. Кроме того, я не пропускал ни одного диспута, ни одной лекции, которых тогда в Одессе было много и на самые разнообразные темы.

Появилось в это время в Одессе и много новых театров. Специальных помещений не строили, использовали те, которые можно было приспособить. Чаще всего почему-то рестораны. Так, в бывшем ресторане «Северный» открылся театр оперетты. На Ланжероновской улице, то-

же в помещении ресторана, работал театр революционной сатиры или «Теревсат», как тогда сокращенно называли эти театры. Они появились во многих городах страны. Теревсат меня заинтересовал, так как, используя разнообразие «малых форм», он по темам своих номеров был предельно злободневным, броским, плакатным. И стиль исполнения был иным, чем в привычных дивертисментах.

Открывалось множество новых иллюзионов с традиционными дивертисментами. На главной улице Одессы, на Дерибасовской, Яков Георгиевич Шошников (бывший антрепренер театра «Водевиль») арендовал зал, который до революции одесситы называли «Кино Уточкино», а Шошников переименовал его в «Экспресс». Конечно, приглашались и гастролеры из Москвы — Григорий Афонин и Георгий Немчинский, из Петрограда — Нина Дулькевич, Алексей Матов и Иван Гурко. Из Харькова Григорий Красавин. Но главную силу составляли все же одесситы. Их хватало, как мы теперь говорим, на все площадки. Хватало не только для Одессы. В центральных городах Украины, в Крыму и на Кавказе, в Белоруссии и Средней Азии выступали артисты одесской эстрады. А в скором времени одесситы начали «завоевывать» и северные города России — Москву и Петроград. Не случайно Одессу стали называть «фабрикой эстрады».

Старая эстрада знала немало хороших администраторов, которые работали и в советское время. Например, Станислав Ланге. В 20-х годах он работал в Ленинграде, его называли гастрольным богом. В основном он помогал музыкантам, но иногда устраивал гастроли артистов и других жанров, даже мне как-то посчастливилось благодаря его посредничеству получить контракт в ташкентский летний сад «Хива». И тогда я услышал от него множество забавных рассказов из его администраторской жизни. Чтобы быть администратором, а тем более театральным, тоже нужен талант, притом незаурядный.

В те годы во многих городах существовали так называемые УЗП — управления зрелищными предприятиями. Без визы этого учреждения в городе работать было нельзя. Однажды Ланге привез в Самарканд на гастроли выдающегося балалаечника Сергея Трояновского. Перед началом гастролей Ланге пришел за разрешением к начальнику самаркандского УЗП, раскрыл перед начальником красочный плакат Трояновского, где на самом видном месте красовалась фотография, на которой Трояновский сидел рядом со Львом Николаевичем Толстым в Ясной Поляне. Не каждому артисту выпало счастье выступать перед великим писателем. Такая афиша удваивала шансы и без того талантливого балалаечника.

Начальник УЗП разглядел афишу и удивленно спросил:

— Ну... этот с балалайкой... я понимаю, будет играть! А что будет делать этот старик?!

Ланге сразу понял, с кем имеет дело, не растерялся и с присущим



ему юмором, который до начальника УЗП вряд ли дошел, ответил:

— Этот старик будет в гробу переворачиваться!!!

— Что? — крикнул начальник, — фокусы?! Не надо!

... Итак, я вернулся на одесскую сцену. Несмотря на большую конкуренцию я занял на эстраде свое место. И вскоре контракты последовали один за другим. Как раз в это время, это был 1924 год, в Одессу приехал известный московский конферансье Александр Абрамович Менделевич, приехал с тем, чтобы пригласить какого-нибудь куплетиста в эстрадную программу московского летнего театра «Аквариум».

Артисты знали, что он смотрит программы не только в театрах и иллюзиях, но даже в клубах. Посетил он и «Большой Ришельевский», в программе которого я тогда участвовал. И каково же было мое удивление и радость, когда он пригласил меня в «Аквариум», в московскую программу. Особенно ликовала мама — шутка ли, ее сына приглашают на гастроли в Москву! Менделевич пришел к нам домой и предложил мне двухнедельный контракт. Уж не знаю, был ли Менделевич знаком с «методом» приглашения артистов, каким пользовался хозяин театра «дебютов» Борисов, но сказал он те же слова:

— Володя! Если будешь в Москве иметь успех, продлим контракт еще на две недели. Если же успеха не будет — не взыщи, уплатим неустойку и бесплатный билет обратно в Одессу.

В «Аквариуме» я выступал с тем же репертуаром, что и в «Большом Ришельевском» — с куплетами «Ловите, ловите жар-птицу» и танцевальной картинкой «Бал у завдома» (автор Павел Григорьев). Этот номер давал мне возможность исполнить несколько разнохарактерных танцев — русско-славянский, краковяк, танго, чечетку, маросский «Яблочко» и создавать образы гостей на этом «балу». Как и предполагал Менделевич, эти куплеты имели в Москве большой успех. Достаточно сказать, что через две-три недели во многих ресторанах и пивных, где мы выступали, распевали «Ловите, ловите жар-птицу». А ведь ни радио, ни телевидения тогда еще не было. Директор «Аквариума» Зиновий Григорьевич Дальцев продлил мои выступления еще на три недели, после чего я получил приглашение на две недели в сад «Эрмитаж», это была самая главная эстрада Москвы.

От первого посещения Москвы у меня остались самые радужные впечатления. Я бывал всюду, когда выпадали свободные дни, — в театрах, на диспутах, музеях, на концертах и просто бродил по городу. Меня буквально потрясли спектакли в театре Всеволода Эмильевича Мейерхольда: «Лес», «Земля дыбом», «Рычи, Китай!». У меня появилось много знакомых, а в программе «Аквариума» выступали и одесситы, приехавшие в Москву на год-два раньше, — Утесов, Кара-Дмитриев, Громов и Милич.

Другим интересным открытием для меня было активное участие в концертах конферансье. При всем обилии, разнообразии артистов и жанров малых форм интересных конферансье в Одессе не было. Во всяком случае, их участие в программе чаще всего было минимальным и чисто служебным. Как ни странно для города остроумцев,

куплетистов и говорунов, но это так! И я могу назвать, пожалуй, только двух представителей этого жанра — Бориса Мирцева и Зиновия Задорина, причем Задорин мне запомнился и как первооткрыватель нового эстрадного жанра моментального стихосложения — «буриме».

Уже с первых выступлений в «Аквариуме», в концерте, который вел Александр Абрамович Менделевич, я почувствовал, что он своей благородной манерой, явственно ощущаемой эрудицией, солидностью облика придает происходящему на сцене особую значительность. А тонкий, интеллигентный, даже, я бы сказал, интеллектуальный юмор придавал его выходам на сцену и общению с публикой, которой он рассказывал бесчисленные курьезы, особую остроту. Этот жанр «курьезов» на эстраде впервые, как мне кажется, проявил именно Менделевич. Александр Абрамович Менделевич славился чистотой и совершенством московского говора. Как к коренному москвичу, к нему часто обращались за советом и справками, как сказать то или иное слово, фразу... И обращались даже такие мастера, как Николай Павлович Смирнов-Сокольский, Михаил Наумович Гаркави, Александр Александрович Грилья и другие.

Когда Менделевич объявлял номер программы, то артисту, а я это ощущал и на себе, было легко выходить к публике, уже заинтригованной, разогретой намеками, особой интонацией, подачей номера. У меня было такое состояние, словно я сею свои куплеты в подготовленную почву.

На концертах в «Эрмитаже» я работал и с другими конферансье, и они тоже удивляли меня своей неожиданностью, так же, как куплетисты в Одессе, каждый из них имел свое лицо.

Александр Грилья! Нельзя было глаз оторвать от его высокой, стройной, элегантной фигуры в безукоризненно сшитом фраке. Торжественный облик дополняли туго накрахмаленный, сверкавший белизной стоячий воротник, галстук-бабочка, жилет «грудка», манжеты, а лакированные черные лодочки и белые носки довершали костюм. Я недаром перечисляю все эти детали. С юношеских лет наблюдал я сценические туалеты многих артистов и учился у них этому искусству. Костюм на эстраде имеет немаловажное значение. Вот уж где «по одежке встречают», а по таланту провожают. Конечно, один костюм сделать ничего не сможет. Наверно, любители эстрады старшего поколения помнят анекдот о том, как два друга делились в антракте впечатлениями.

— Ну, как тебе понравился концертант? — спрашивал один.

— Ах, какой был на нем шикарный фрак! — ответил другой.

Но о костюме я заговорил не случайно. В наше время, к сожалению, многие наши прославленные артисты — и певцы, и дирижеры (я уже об этом как-то писал в «Советской культуре»), выступая на эстраде или по телевидению, часто не обращают внимания на свой затрапезный внешний вид. Это можно расценить как неуважение и к самому делу,

и к зрителю. Да, я понимаю, что в моде теперь небрежность на грани неряшливости и расхлябанности. Один из дирижеров ухитрился даже фрак сочетать с... водолазкой! Но это уж просто смехотворно! Зачем же разрушать классические образцы вкуса и элегантности. Фрак и водолазка! — это, извините, ни в какие ворота не лезет.

Конечно, у Грилля был не только блестящий внешний облик. Это был конференсье высокого класса, импровизатор, великолепно владеющий словом. Грилля не стоял посередине сцены и не изрекал остроты, не занимал зрителей монологами. Он появлялся на сцене, чтобы по-хозяйски привести ее в порядок для следующего номера. Поправляя занавес, прикрывал зазоры, распределял равномерно складки, чуть пододвигал один стул, отодвигал другой или вовсе убирал их в сторону, открывал или закрывал крышку рояля, — одним словом, работал и тут же, как бы между делом, разговаривал со зрителем; рассказывал о каком-либо животрепещущем событии, делился своими наблюдениями, иногда говорил о спектаклях на других сценах «Эрмитажа», что-то советовал посмотреть, послушать, иногда читал стихи. Это уже, конечно, были специальные заготовки, а все остальное носило характер живого, сию минуту возникшего разговора. Он общался со зрителем без всякого панибратства, не навязываясь в друзья, но и без заносчивости и покровительства, сохраняя манеру человека, ответственного за все происходящее. Говорил деловитым и чуть озабоченным тоном. Казалось, он не делал никакого номера, но это и был его номер.

Из сегодняшних конференсье ближе всего к нему, пожалуй, Сергей Дитяев. Конечно, он настолько молод, что видеть Грилля на сцене ему не довелось. Но его номера сродни тому, чем привлекал Грилля. И Дитяев тоже занят сценой. Он работает, что-то поправляет, приносит, уносит, переставляет микрофон, и в то же время успевает о многом поговорить со зрителем.

Георгий Александрович Амурский по солидности и подтянутости был похож на банковского служащего, всегда готового оказать услугу. Была в его манере сильная доза угодливости, этакой галантерейности, желания услужить, и тогда он становился похожим на купца.

Удивил меня своим видом и манерой Константин Эдуардович Гибшман, когда я впервые увидел его на сцене. Я поверил его маске сразу: этот человек случайно попал на эстраду. Что сейчас с ним произойдет от страха и растерянности — невозможно предсказать. Его волосы были всклокочены, он что-то бормотал, запинаясь, выкрикивал, мотался на сцене и спотыкался, его речь была полна алогизмов. Он так и номера объявлял — без всякой связи с тем, что минуту назад говорил. Он мог сказать: «Вот... сегодня... идя сюда на концерт, я купил... примус... А сейчас... будет петь Нила Дулькевич». При всем том, что Гибшман был талантлив и неповторим в своей маске, артисту после него все же было трудно сразу расположить зрителя, так как каждое появление Гибшмана вызывало большое оживление в зрительном зале.

Мне нравился еще молодой, в те годы начинающий конференсье Михаил Наумович Гаркави, который уже тогда умел вести полемику, ни один звук не оставался у него не подхваченным, ни одна реплика не отпарированной. В отличие от некоторых сегодняшних конференсье, которые подчас уподобляются в своих «импровизациях» образцовскому Апломбову, Гаркави, бесспорно, обладал собственным почерком.

...Это было в декабре 1929 года. Войдя в купе мягкого вагона «Москва — Нижний Новгород», я увидел девушку, лицо которой показалось мне знакомым. Но, не уверенный в своем впечатлении, я только поздоровался и занял свое место.

— Вы меня не узнаете? — немного стесняясь, спросила девушка.

И вот тут, когда облик соединился с голосом, я вспомнил, что нас год назад познакомили в Харькове, в летнем театре «Тиволи», где я тогда гастролировал. Эта девушка всегда сидела в первых рядах, а в антрактах и по окончании приходила за кулисы. Мне представили ее как молодую начинающую певицу. А потом рассказали, что она выступает в клубах. Хотела быть актрисой, пробовала себя в драматическом театре, затем в оперетте, но в песне чувствовала себя уверенней всего. И стала эстрадной певицей.

В «Тиволи» в одной программе со мной выступала одна из талантливейших на Украине в те годы исполнительниц жанровых песен, Ядвига Махина. Молодая певица, сидящая сейчас со мной в купе, чуть ли не каждый день приходила слушать Махину, от которой, как она говорила, была в восторге: у Махиной есть чему поучиться. Не было ничего удивительного, что молодая, начинающая певица, с не известной никому фамилией Шульженко, ходит на концерты, где выступает Махина, как на уроки. Теперь мы снова с ней встретились.

— Вот видите, Володя, как бывает, — мы были сверстники и могли обходиться без отчества, — еще недавно я приходила в «Тиволи», чтобы слушать мастеров и учиться у них, а теперь мы с вами будем выступать целый месяц в одной программе Нижегородского мюзик-холла.

Дорога пролетела незаметно, мы то весело болтали, смеялись и дуррачились, то обсуждали разные театральные новости, то рассказывали друг другу случаи своей жизни. Шульженко просила подробно рассказать о творчестве Изы Кремер.

— Ведь вам, Володя, посчастливилось выступать с ними и в Одессе, и в Москве.

Но больше всего, конечно, ее интересовало, как она выразилась, ажурное мастерство Ядвиги Махиной, искусство которой оставило в ее памяти неизгладимый след.

Заметив на ее руке обручальное кольцо, я вопросительно взглянул на Шульженко. Чуть смутившись, она пояснила, что за два дня до отъезда из Харькова была помолвлена.

— Свадьба весной будущего года. Приезжайте, Володя, будете дорогим гостем.

А я, вместо того, чтобы поздравить и поблагодарить, брякнул вдруг, все еще продолжая задорный, шутливый тон нашего разговора:

— На свадьбу приеду обязательно, но только не в качестве гостя!

— А в качестве кого же? — с недоумением и растерянностью спросила Шульженко.

— В качестве вашего жениха!

Оценив всю нелепость и невероятность этой импровизации, мы расхохотались.

Наконец Нижний Новгород. Нас закрутила предпремьерная суета. Встречи стали беглые и короткие, но особая романтическая атмосфера вагонного быта продолжала нас окружать. Я, конечно, с нетерпением ждал услышать ее пение. И немного волновался за молодую певицу, потому что это было ответственное выступление, ведь на афише мюзик-холла стояли знаменитые имена: уникального жонглера Максимилиана Труцци, единственных в то время исполнительниц русских частушек Веры Андреевны Глебовой и Марии Ивановны Дарской, Георгия Немчинского, впервые выступавшего на эстраде с кинофельетоном, он блестяще владел искусством «буриме». Конферировал Михаил Гаркави.

Но молодая певица не растерялась среди этих мастеров. Ее непосредственность и обаяние, та особая мягкость, доверительный тон, с которым она исполняла свои незатейливые песенки «Папиросница и матрос», «Чикитта», «На санках», покорили сердца слушателей. Этот успех многое для нее значил — он открывал ей дорогу на главные эстрады страны.

На сцене она мне понравилась еще больше. Может быть, меня поразило ее преображение. Хотя в эти дни мы много шутили и смеялись, я заметил, что ей свойственны грусть и меланхолия, мечтательная задумчивость. А на сцене вдруг появилась такая современная спортивная девушка, бодрая, задорная. Костюм подчеркивал ее молодость и контрастировал с ее поведением. Она лихо и лукаво пела о том, как мчались с горки санки и как она соглашалась отдать сердце юноше, шепчущему в этом немыслимом полете слова любви, а на сцене стояло юное существо, одетое в строгое черное бархатное платье, не закрывавшее ног, белый воротник, большие белые манжеты оттеняли ее юность и придавали особую мягкость облику. Мягкостью отличалось ее исполнение лирических песен.

В моем репертуаре для этих гастролей был приготовлен куплетно-танцевальный пародийный номер «Эволюция танцев». Но в финале, как бы зачеркивая отжившие манеры и ритмы, исполнялось залихватское «Яблочко». Этим номером я завершал программу мюзик-холла.

Гастроли подходили к концу. В сиянии успеха настроение у всех было самое праздничное. С таким именно настроением и пришли все участники этой программы на вечер в ресторан «Россия», чтобы отпраздновать удачное завершение гастролей и встретить Новый 1930-й год.

Мы с Шульженко сидели за столом рядом. Вдруг я заметил, что обручальное кольцо с ее руки исчезло.

— Что случилось? — спросил я.

— Володя! О покойниках не надо говорить, — сказала она с тяжелым вздохом.

— Он умер? — спросил я со страхом.

— Для меня... — последовал ответ.

Тамадой новогоднего стола единогласно был избран Михаил Гаркави. И среди многих тостов и речей, шуток и смеха, тамада предложил тост за самых молодых — Максимилиана и Софи Труцци, незадолго до поездки справивших свадьбу. И грянуло как из пушки: «Горько! Горько!» Молодожены не стали себя долго упрашивать. Вскоре Гаркави снова провозгласил тост — на этот раз за молодых артистов эстрады Харькова и Одессы — и снова грянуло: «Горько! Горько!..» Это был наш первый поцелуй.

И вот мы снова в вагоне поезда, на этот раз идущего в Москву. Мы по-прежнему шутим и смеемся, но какое-то новое настроение начинает рождаться в наших отношениях. В Москве мы проводим с ней и ее пианисткой Елизаветой Резниковой два дня, а потом расстаемся. Я еду на гастроли в Харьковский цирк, а Шульженко с пианисткой остаются на несколько дней в Москве. Придя проводить меня на вокзал, она принесла объемный сверток и сказала:

— Это валенки. Пожалуйста, передайте их отцу. Мы живем на Москалевке. Вот адрес. — И понимая всю необычность просьбы, добавила: — Так, Володя, вам будет легче познакомиться с родителями, они у меня простые, но сердечные и гостеприимные люди.

В Харькове, чтобы понравиться и произвести впечатление, я надел на себя все самое дорогое, что у меня было: шубу «на лире», так называлась тогда меховая «царская» подкладка, шапку-гоголевку и, прихватив спасительные валенки, пошел на Москалевку. Москалевка для Харькова это почти то же, что Молдаванка для Одессы. В письме, которое я вскоре получил от Шульженко, она писала, что отец обратил внимание на шубу, на шапку-гоголевку и особенно на хвостики меховой «царской» подкладки, сразу понял, что это жених. И одобрил выбор.

И полетели письма из Харькова, а потом из Ростова-на-Дону, куда я выехал на гастроли, а затем из Одессы в Ленинград, где выступала Шульженко. Письма, в которых были воспоминания, напоминания, и, наконец, самое важное, самое главное: «Я посылаю вашей маме письмо, передайте ей, пожалуйста. Володя! Выезжайте из Одессы 11-го апреля и обязательно встречайте меня, а потом мы пошлем вашей маме приглашительную телеграмму приехать на нашу свадьбу».

Дрожащими от счастья руками я передаю маме письмо и вдруг слышу ужасное, безнадежное:

— Только через мой труп!

Кажется, Бог, которому я в свое время пропел столько хвалебных песен, собирався помешать моему счастью. Как раз за полгода до моей встречи с Шульженко мой старший брат Эмиль Кемпер женился на артистке Марии Ивановне Дарской. Со слезами на глазах мать продолжала.

— Теперь вот отступает от закона предков и младший сын.

Собрав всех родственников, мать держала перед ними речь, полную обиды, горечи и закончила словами:

— Евреи! Что же это получается? С одной стороны Ивановна, — с другой стороны Ивановна, а я, мадам Кемпер, в середине?! Что скажут ПРЕДКИ?!

Не дожидаясь ответов предков, она запретила мне ехать в Харьков. А я, маменькин сынок, не посмел ее послушаться. Да нет, я слишком любил мать, слишком много у нас с ней было связано, я не мог допустить, чтобы она страдала от горя.

И вот я сижу в Одессе, страдаю, люблю и сердцем рвусь в Харьков. Не зная, что написать, как оправдаться... и вдруг я получил письмо: «Вы сами разрушили нашу мечту». Но Бог, уже не знаю чей, сжалился надо мной: вдруг прислали мне приглашение выступить в майских праздничных концертах.

И вот мы выступаем с Шульженко в одном концерте. Она меня не замечает, а в антракте подводит ко мне какого-то человека и представляет:

— Знакомьтесь, Володя, мой жених. Скоро свадьба. Приезжайте, будете дорогим гостем!

Подавленный, едва скрывая отчаяние, я пробормотал какие-то слова, а сам решил: сейчас же брошу все и уеду в Одессу, видеть этого я не в силах. Но чувство долга взяло верх и не позволило мне бросить концерт. Я отработал свой номер и уже собирался уходить, как снова появилась Шульженко с женихом «в одной руке» и с театральным чемоданчиком в другой — попрощаться.

Что тут со мной случилось, не знаю, но только вырвал я у нее из рук этот чемоданчик и швырнул его в дальний угол, жених хотел схватить меня за грудки, тогда я выхватил браунинг (у меня было право на ношение оружия еще с времен гражданской войны, когда я выезжал с эстрадной группой в районы Одесской губернии, где орудовали остатки банды Тютюника)... Нет, я не собирался его убивать, просто это было рефлекторное движение. Но жених стремглав, бросив невесту, которая собирала содержимое своего чемоданчика, исчез в мгновение ока.

Я уехал в Одессу. И если до тех пор во мне жила неискоренимая уверенность, что все равно мы будем вместе, то теперь я понимал — все кончено. Приближалась весна, Одесса расцветала, но все это уже не радовало меня. Я снова страдал — не ел, не пил, худел, бледнел и молчал.

Мать, видя, как мается (а я-то родился в мае) ее любимый сын, не выдерживала, старалась меня разговорить. А потом изрекала:

— Володюню! — так она меня звала, — запомни. «Тянуться надо к тому, — кто тянется к тебе»!..

Несмотря на всю мудрость этой фразы, я понял, что она готова сдаться. Но что мне теперь ее согласие! Оно ничего не изменит. Не суждено...

Через десять дней, двадцать второго апреля, я получил письмо. Уж не коварное ли это приглашение на чужую свадьбу? Но письмо было полно уныния, пессимизма, обреченности... И стихов.

Телеграмма в Харьков. Встреча на вокзале. Бракосочетание. И четверть века вместе.

...А летом 1930 года наши совместные концерты проходили в моем родном городе — в моей Одессе. Я очень хотел, чтобы эти придиричivé, беспощадные одесситы по достоинству оценили и полюбили еще неизвестную им певицу. И они, обожавшие Изу Кремер, Александра Вертинского, приняли и полюбили Клавдию Шульженко. А Петр Соломонович Столярский — легенда Одессы, опекун и учитель всех музыкально одаренных ее детей, взрастивший плеяду скрипачей — один Давид Ойстрах чего стоит! — этот самый Столярский обнял и расцеловал певицу, поздравил ее с дебютом в Одессе — городе, где родились выдающиеся музыканты, писатели, артисты. Обращаясь ко всем присутствующим в зале актерам драмы, оперы, оперетты, эстрады (концерт проходил в Доме искусств РАБИС), сказал:

— Ну вот, друзья! Одесса ждала появления второй Изы Кремер, второго Александра Вертинского... Мне кажется, что я не ошибусь, если скажу, что появилась ПЕРВАЯ Клавдия Шульженко.

И сегодня талантливых артистов на эстраде у нас немало. Не хватает людей, которые заботились бы и профессионально понимали этот вид искусства. Чтобы таланты не вяли преждевременно, не тускнели, не обезличивались. И как тут не вспомнить театральных деятелей, работавших до войны, таких, как Александр Морисович Данкман, Игорь Владимирович Нежный, Тигран Аветович Тарумов, Семен Ильич Добрыкин, Арнольд Григорьевич Арнольд, Давид Семенович Вольский. Таким во Франции был Бруно Кокатрикс, а в Америке Сол Юрок. Они понимали, что талант — дело хрупкое, что его надо пестовать, о нем надо заботиться, его надо беречь.

На эстраду идут энтузиасты. И надо, чтобы этих энтузиастов встречали и руководили их жизнями не равнодушные чиновники, а люди понимающие, компетентные, стремящиеся и умеющие сделать все, чтобы Малая форма Большого искусства — эстрада! — была искрометной! Ослепительной!



КОРАЛЛИ Владимир Филиппович

КУПЛЕТИСТ ИЗ ОДЕССЫ

Редактор Т. Н. Т р о и ц к а я

Технический редактор Т. Я. К о в ы н ч е н к о в а

---

Сдано в набор 27.03.91. Подписано к печати 3.05.91.

Формат  $70 \times 108^{1/32}$ . Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд».

Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Усл. кр.-отг. 2,28.

Уч.-изд. л. 3,25. Тираж 90 000 экз. Зак. 342. Цена 20 коп.

---

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография  
имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865 ГСП,  
Москва, А-137, улица «Правды», 24.

**В СЕРИИ «БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»  
В ЭТОМ ГОДУ  
ВЫШЛИ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ:**

- О. МАНДЕЛЬШТАМ «Четвертая проза»;  
Е. РЕЙН «Непоправимый день»;  
В. НИКОЛАЕВ «Горсовет по-американски»;  
С. ЛИПКИН «Угль, пылающий огнем»;  
Г. АКСЕНОВА «Театр на Таганке: 68-й и другие годы»;  
И. ЭРЕНБУРГ «Неправдоподобные истории»;  
Л. ЧУКОВСКАЯ «Сверстнику»;  
Р. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ «Бессонница»;  
К. БАЛЬМОНТ «Где мой дом?»;  
Ю. КАРАБЧИЕВСКИЙ «Незабвенный Мишуня»;  
В. РЕЦЕПТЕР «До третьего звонка»;  
Б. ЗАЙЦЕВ «Братья-писатели»;  
М. КВЛИВИДЗЕ «Продолжение следует»;  
Г. БЕЛАЯ «Затонувшая Атлантида»;  
А. АНАНЬЕВ «Конец опричнины»;  
Б. ПЕТРОВСКИЙ «Два человека — одно сердце»;  
В. СЕЛЮНИН «Все у нас получится»;  
Н. ЗАБОЛОЦКИЙ «История моего заключения»;  
В. КОСТИКОВ «Сумерки свободы»;  
Е. ДОБРОВОЛЬСКИЙ «Заполярные ангелы»;  
А. ПЬЯНОВ «Утренние птицы»;  
Г. РОЖНОВ «Всесоюзный розыск»;  
А. БЕЛЫЙ «Первое свидание».